

# архитекторы

материал для чтения

будущее

зооботан

фд.





# будущее городов

сборник статей подготовлен  
институтом медиа, архитектуры  
и дизайна «стрелка» в рамках  
программы «архитекторы.рф»  
2019–2020

Будущее городов. Сборник учебных материалов Издание подготовлено по заказу ДОМ.РФ

Перевод с английского Пронина Анна, Шамина Ольга, Третьяков Иван, Фаворов Петр

Редакторы Кушнарера Инна, Мельников Антон, Рыклина Любовь, Дондуковский Максим, Лавут Евгения

Дизайн Вишнякова Анастасия

Верстка Лочинов Ильяс

Корректоры Власенко Надежда, Крючкова Светлана

Настоящее издание имеет учебный характер. Распространяется бесплатно среди участников образовательной программы и не предназначено для продажи. Мы предприняли все необходимые усилия, чтобы получить согласие авторов на использование материалов, воспроизводимых в настоящем издании. Вместе с тем, если по каким-то причинам вы полагаете, что ваши права затронуты публикацией какого-то материала, включенного в сборник, просим связаться с нами для урегулирования этого вопроса [book@strelka.com](mailto:book@strelka.com).

Архитекторы.рф — это бесплатная лидерская программа профессионального развития, сфокусированная на раскрытии потенциала российских специалистов в области архитектуры и градостроительства. Программа реализуется с 2018 года ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Уровень качества архитектурных и градостроительных проектов, влияющих на развитие городов, а также эффективность принимаемых решений во многом зависит от профессионализма вовлеченных в работу специалистов. Поэтому программа Архитекторы.рф сфокусирована на раскрытии профессионального потенциала каждого участника. Программа отвечает на ключевые вызовы экономического развития городов и создания комфортной городской среды, в том числе доступного и качественного жилья, и предлагает взглянуть на указанные проблемы в широком контексте.

Данное издание публикуется для образовательных и просветительских целей.

Не для продажи.





# содержание

ТРАНСНАЦИЯ И ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ГОРОД	9
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ	29
ПОДРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ: ГЕОГРАФИЯ И ЭКОНОМИКА	41
ОТ МЕДИА К ГЕОМЕДИА	59
ЗДАНИЯ СОЕДИНЯЮТСЯ В ГОРОД	81
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЯ	97



# транснация и постколони- альный город

Понятию «транснациональность» сложно дать точное определение — это слово-гибрид, которое сейчас используется для описания современной глобальной мобильности. В этом смысле термин «глобализация» проще, чем все те запутанные взаимообмены, которые подразумевает термин «транснациональность». Однако я бы хотел ввести понятие, которое перенастроит наше понимание транснационального. Мир все более транзитивен, чем когда-либо раньше, так как население все более мобильно, но что если транзитивность подразумевает не только пересечение границ? Что если транснациональность начинается не там, где пересекают национальные границы, но уже существует внутри наций самих по себе? Что если транснациональность начинается с пересечения внутренних границ?

Я предлагаю термин «транснация» для описания передвижения людей внутри (и лишь иногда через) географических границ национального государства и, даже более, для описания тех, кто циркулирует вокруг границ государства, что делает понятие нации все менее определяющим для понимания идентичности. На данный момент по всему миру относительно стабильные отношения доминирования-подчинения заменяются нестабильным и разобщенным состоянием обездоленности и неуверенности, что беспрецедентный рост потока беженцев и просителей убежища демонстрирует нагляднее всего. Это привело к активному возведению ограждений и стен на границах. Как показали Хасснер и Виттенберг, из 51 укрепленной границы, построенной между странами с конца Второй мировой войны, более половины было построено в период 2004–2010 годов. И хотя такой впечатляющий поток людей, движущихся через национальные

границы, был в центре нашего внимания в прошедшие годы, я бы хотел перенаправить это внимание на гораздо более глубокую дестабилизацию национального государства как силы. Уменьшение роли государства в жизни людей можно обнаружить в городе, с более стратегической точки зрения — в функции постколониального города. Город всегда имел особое отношение к транснациональным движениям. На определенном этапе все такие движения пересекаются в глобальном городе. Но именно постколониальный город как исторический феномен иллюстрирует тот процесс, благодаря которому город становится средоточием транснации.

Идея транснации появляется тогда, когда мы начинаем различать нацию и государство. Если политические границы государства, как кажется, определяют всех его граждан и локализуют их в отношении к другим государствам, реальная циркуляция людей внутри нации отображает скрытый от глаз поток агентности, который государства никогда даже не смогут проконтролировать. Это подразумевает нечто большее, чем просто деление на этнические и культурные группы внутри государства, такие как Каталония в Испании и курды в Турции и Ираке. И даже большее, чем повстанческая деятельность угнетенных меньшинств. Транснация представляет собой постоянную перестройку случайных объединений, которая выходит за рамки любых политических ориентаций. Она совсем необязательно подразумевает какую-либо сознательную сепаратистскую позицию. Это поток людей, живущий своей повседневной жизнью. Что определяет интересный вариант альтюссеровского понятия «власти идеологии». Хотя субъекты могут быть интерпеллированы идеологией в качестве таковых, понятие транснация предполагает, что интерпелляция не лишает агентности. Интерпелляция подвергает конкретных субъектов воздействию идеологических государственных аппаратов, «окликаая» их. Но могут ли субъекты, поразмыслив, решить проигнорировать или отказаться «откликаться» идеологическим государственным аппаратам или делать это хотя бы время от времени?

Транснация отличается от других транзитивных понятий, таких как мигрант, интернациональность, транснациональность, диаспора, космополитичность — все эти термины, в целом, не способны объяснить субъектов, которые в различные моменты могут идентифицироваться с нацией, этносом, религией, семьей или племенем, спортивным клубом, которые могут ничего не знать о функционировании государства, за исключением их собственного опыта взаимодействия с местными властями, которые могли никогда не пересекать национальных границ, но чей опыт включает постоянную тему: неоднозначные отношения нации и государства. Транснация — это флюид, мигрирующий за пределы государства, который берет начало внутри нации. Это признак интерпеллированных субъектов, которые протекают сквозь идеологии и в обход них. Литература — значимый источник для ее понимания, если читать ее, критически анализируя национальные аллегории. Жан Франко показал неадекватность нашумевшего определения литературы Третьего мира как «национальных аллегорий», данного Фредриком Джеймисоном (Jameson 69), отметив, что мы, скорее, сталкиваемся с «исчезновением идеи нации при постоянном сохранении национальных проблем» (Franco 211).

Идея «транснации» разрушает конструкт центра и периферии, который со времен Валлерстайна продолжает сохранять свою власть

в наших интерпретациях структуры глобальных отношений. Если мы будем понимать «транснацию» как выходящую за географические, политические, административные и даже воображаемые границы государства, как находящуюся одновременно внутри и вне границ нации, мы откроем ее как пространство, где эти границы стерты, в котором национальная и культурная принадлежность вытеснена, а бинарные оппозиции центра и периферии, национальной идентичности и другого исчезли.

Таким образом, понятие транснации, которое я предлагаю, состоит не только из диаспор, но подразумевает ризоматичное взаимодействие кочующих субъектов как внутри, так и между нациями. Такое пространство внутри и за пределами государства лучше всего может быть описано в терминах Делёза и Гваттари как «гладкое пространство», которое они объясняли через противопоставление тканого текстиля и войлока. Текстильная ткань сделана из переплетенных вертикальных и горизонтальных нитей, составляющих основу. (Deleuze, Guattari 475). Войлок же, напротив, — упругое плотное тело, по сути, «антиткань». Он, скорее, представляет собой спутанные волокна, чем сплетенные, нечто, получившееся благодаря валянию шерсти туда-сюда, перепутыванию нитей, чем их плетению. Нечто «гладкое», но при этом не «гомогенное». По мнению Пола Гилроя, не только государство, но и этнический абсолютизм мейнстримного национализма приводит к мумификации «по сути своей, текучих, изменчивых, нестабильных и динамичных особенностей культуры» (Gilroy 24). Такие динамические особенности транснации преодолевают ограничения национальной доктрины внутри национальных границ благодаря тому, что увеличивают число субъектов, участвующих в создании культуры. Принимая это, мы преодолеваем центристскую тенденцию исследований мигрантов, диаспор, космополитизма, глобальности, в которых неоспоримое центральное место всегда отводится белой расе.

Однако гладкое пространство не отделено от рифленого. Гладкое пространство циркулирует внутри, сквозь и между складками государства, заставляя нас переосмыслить феномен транснациональной мобильности. Если мы задумаемся о сегодняшнем отчаянном положении просителей убежища в Южной Европе, то мы придем к заключению, что «мобильность, несомненно, знак все более и более транснациональной природы современности». Но на деле избыточная мобильность беженцев и просителей убежища, рост миграции в целом подчеркивают реальность транснации, так как, несмотря на то что это примеры движения сквозь границы, они являются наглядными примерами «гладкого пространства» — ведь это также и движение внутри границ, невзирая на попытки государства его ограничить. Это является одной из причин того, почему национальные государства наблюдают за этим притоком с таким трепетом: транснация циркулирует в обход государственных структур, а не просто сквозь границы. Неконтролируемая мобильность расценивается как угроза гражданскому обществу, что означает и угрозу для государства. И эта угроза не исчезнет. Неравенство, порожденное глобальным капитализмом, является движущей силой этого неуправляемого движения, а дополненное региональными войнами оно делает привычные национальные структуры все менее актуальными.

Интересно различие между «резидентами», которые занимают непрочное место, и «гражданами», которые свободны остаться или покинуть его (Standing). Тем не менее резиденты, которые не могут легально пересекать границы, могут так же, как и граждане, перемещаться между культурными и политическими границами внутри государства. Более того, беженцы ставят под вопрос это различие: они и не резиденты, и не граждане, и тем не менее они, довольно очевидно, всегда находятся в движении, несмотря на государственную политику, направленную на их задержание. Они не резиденты и не граждане, и их прекарность расшатывает стабильность самого национального государства, по крайней мере с точки зрения политиков. Нам не избежать того, что термин «космополитизм» относится в первую очередь к городским жителям. Динамика глобальной мобильности неизбежно касается людей, переезжающих из города в город. Таким образом, город — это ключевой фактор космополитизма, как и трансация в ее лавировании между государственными структурами. Фактически, город — это то место, где начинается трансация.

Быть в движении — это условие современности, однако такое, чьи последствия, как говорит Зигмунт Бауман, принципиально не одинаковы для всех.

Одни из нас становятся целиком и полностью «глобальными», другие остаются привязанными к своему месту — затруднительное положение, неприятное и довольно мучительное в мире, где именно «глобалы» задают тон и правила игры.

Парадоксальным образом, быть дома во всем мире (определение космополитизма) — по Бауману, значит владеть собственностью. То есть по-настоящему глобальны те, кто лучше адаптировался к складкам государства и глобальному капитализму. Однако непокорность городов есть историческое следствие империализма.

## ТРАНСАЦИЯ И ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ГОРОД

Транснационализм основывается на пересечении национальных границ, будь то физическом, при перемещениях диаспор, или же чаще в рамках глобальных процессов, культурных и экономических, которые просто выходят за эти границы. Но если трансация характеризует внутреннюю мобильность населения, в противовес пересечению границ, в центре ее внимания оказывается город, ставший ключевым локусом космополитизма. Я утверждаю, что трансациональный характер города — результат исторического процесса, который принял свою самую интенсивную форму в постколониальном городе. Важнейшая черта постколониальных городов состоит в том, что они являются первым этапом, или микрокосмом, мобильности и культурного смешения, которые приводятся в движение глобальным империализмом. Есть искушение рассматривать движение колонизированных народов в имперские метрополии как простое продолжение вековой миграции из деревни в город. Такое колониальное развитие темы представляет сельских/примитивных колонистов, перебира-

ющихся в городскую/цивилизованную метрополию, находящуюся в центре имперской сети — в центре «цивилизованного общества». Миф о деревне как естественном образе жизни (и характерном образе жизни нации) в противоположность городу как месту суеты и амбиций лежит в основе предрассудка, что сделал постколониальный город невидимым, лишь проходным этапом на пути к Лондону, Парижу или Нью-Йорку.

Именно поэтому мы склонны представлять мобильность населения в терминах интернациональных диаспор. Циркуляция имперской власти, ее стратегии насильственной мобилизации, такие как крепостничество и рабство, вызывали ответное движение колонизованных народов: движение обратно в имперские метрополии и через национальные границы, установленные колониальными администраторами. Распространение империи привело к распространению колонизированных — ускорению миграции и быстрому росту населения диаспор по всему миру за последние полвека. Сейчас мы вполне законно можем считать главные «точки притяжения диаспор», такие имперские центры, как Лондон и Нью-Йорк, Париж или Берлин, постколониальными или как минимум мыслить их в постколониальных категориях, как показал МакЛеод в «Постколониальном Лондоне» (2004).

Самым главным и непризнанным фактором этой возросшей мобильности был постколониальный город. Первый этап пути к имперской метрополии — это перемещение в это особое палимпсестное пространство. Являясь далеко не просто случайностями современности, постколониальные города — особенно яркая демонстрация движения населения в рамках диаспор, микрокосмы глобальных потоков людей, набирающих обороты во время и после периода европейской экспансии. В большинстве случаев они являются местом демографического взрыва, такого внезапного, что городские службы очень быстро оказываются перегруженными и начинается резкий рост трущоб и нищих городских окраин. Это в точности случай Мумбаи, а также Йоханнесбурга, хотя там он сложился иначе. Важное исключение здесь — Сингапур, где сочетание относительной этнической однородности, китайских культурных ценностей покорности и того, что город сам по себе является государством, привело к тому, что он оказался гораздо более централизован, чем большинство постколониальных городов. Однако это просто ведет к тому, что находятся более тонкие способы уклониться от проблем транснации.

Как европейские города, постколониальные города привлекают обедневшее сельское население, так как предлагают максимум услуг, занятости и вообще модернизации. Они становятся источником модернизации страны и, как следствие, центром производства неравенства, которое модернизация приносит с собой. Быстрый рост увеличивает это неравенство, и город начинает больше напоминать все общество в миниатюре, чем автономное пространство, в то же время выдвигая проблему городского пространства на передний план общей постколониальной озабоченности проблемой места. Относительная внезапность появления постколониального города выявляет смешение городского и сельского, хаос разных способов производства, который на физическом уровне кажется дисфункциональностью и отражает, согласно Чандоку, «малоприятную сторону капитализма в странах третьего мира: трущобы, сделанные из ветоши, бумаги и ли-

стового железа, обитатели которых кое-как сводят концы с концами, находясь на периферии одновременно и пространственного, и социального миров горожан» (2871). Однако интерпретация постколониального города как «монстра», хоть и правдоподобна экономически, не принимает во внимание агентность горожан, чья циркуляция в обход государственных структур отражает циркуляцию транснации.

Один из способов, с помощью которых идеология пытается контролировать буйство и хаос города, — те самые мифы о национальности, которые возникают за пределами города, но интерпеллируют субъектов как горожан. Классический пример — миф о Матери Индии, которому удается разрешить парадокс потребности одновременно и в модернизации, и в традиционной сельской жизни. Фильм, который породил этот миф, был сделан в Бомбее, а понятие Бахрат — Мать Индия — стало широко распространенным дискурсом, который объединил город и деревню. Но если националистические мифы интерпеллируют субъектов в качестве представителей определенной национальности, неуправляемая и ризоматичная природа города постоянно подрывает эту идеологическую операцию. Если обратиться к тезису о том, что «мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила»<sup>1</sup>, мы увидим, что в постколониальном городе господствующие мысли всюду скорее игнорируются и обходятся, чем открыто оспариваются неуправляемой реальностью транснации. Это та неуправляемость, на которой держится неукротимая динамика транснации.

## БОМБЕЙ/МУМБАИ

Такой город, как Бомбей, раскрывается, на уровне социальных движений и в литературных произведениях, как феномен, принципиально отличный от европейского города. Внешние разделения, вызванные экономическим неравенством, не могут скрыть интенсивное размножение классов, каст и происхождений. Также они не могут скрыть те способы, с помощью которых трансформация города контролировалась, даже в колониальные времена, местными элитами. Но лишь немногие города столь наглядно демонстрируют то, как гладкое пространство циркулирует в обход государственных структур, так, как это делают индийские города. Иконический пример — регулярность, с которой индусы обеспечивают себя бесплатным электричеством, подключаясь к городским сетям. Нет сомнений в том, что постколониальные города были образованы как центры, в которых экономические излишки присваивались колонизаторами. Также не приходится сомневаться, что они поражены экономическим неравенством, характерным для всех городов, на некоторых континентах — в исключительной степени. Но буйная трансгрессивность таких городов, как Бомбей, демонстрирует силу и распространение альтернативной,

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С.

черной экономики, которая появляется как следствие внезапного поглощения городом внутренней диаспоры.

Возможно, литературные произведения, продукты воображения, передают избыточную, полную энергии и многоуровневую реальность такого города, как Бомбей, лучше, чем социологический анализ. Как говорит Мавр в «Прощальном вздохе мавра»:

Бомбей был центральным городом, был с момента своего основания — незаконнорожденное дитя португальско-английского соития и в то же время самый индийский из всех индийских городов. В Бомбее все Индии встречались и перемешивались между собой. В Бомбее, кроме того, исконно индийское встречалось с тем, что не было Индией, что пришло к нам через темные воды и влилось в наши вены. К северу от Бомбея лежала северная Индия, к югу — южная. К востоку от него лежал индийский Восток, к западу — мировой Запад. Бомбей был центральным городом; все реки текли в его людское море. Он был океаном историй; мы все были в нем рассказчиками, и все говорили одновременно<sup>2</sup>.

Упомянутый «океан историй» поможет подобраться ближе к противоречивой сути этого восхитительного феномена, чем любой эмпирический анализ.

Такие города, как Бомбей, ломают бинарную оппозицию национального/глобального, становясь пограничным пространством между ними. Бомбей с самого начала был городом диаспор, городом иммигрантов, которые никогда не покидали страну. Заключая в себе несколько характеристик глобальной миграции людей, он представляет кейс для изучения нескольких больших тем: появление субнационального социального явления транснации, существующего внутри государственных структур и в обход них, перемещение людей, которое из внутринационального пространства продолжается в том, что более известно как глобальные диаспоры; трансформация современности; расцвет постколониального искусства и литературы. Все это мы можем рассматривать как утопические образования, соседствующие с углублением классовых разделений, дискриминацией женщин и растущей маргинализацией больших групп людей.

Все множество романов, стихов и фильмов о Бомбее<sup>3</sup> несет в себе разные восприятия судьбы индивидов, но все они разделяют общее понимание экспансивного характера постколониального города, воплощенного в радикально гибридной природе метрополии и ее субъектов: идентичность, построенная вокруг чатни, известная благодаря роману «Дети полуночи», принципиально нечеткая идентичность Мавра Зогойби из «Прощального вздоха мавра», выраженная как религиозное междумирие:

---

<sup>2</sup> Рушди С. Прощальный вздох мавра. М.: АСТ, 2017. С.

<sup>3</sup> Я называю эти романы «бомбейскими», а город Бомбеем, так как по большей части, расцвет бомбейской литературы пришелся на время до смены имени города на Мумбаи и зачастую в противодействии с ним. Название Бомбей также лучше передает идентичность города как колониального конструкта. Название «Мумбаи», парадоксальным образом, — знак этноцентричной идентичности, которой постколониальный город искренне сопротивляется, несмотря на очевидную деколониальную идею названия. Во многих смыслах «Мумбаи» свидетельствует о гораздо более значимом сдвиге, чем просто смена имени.

При этом воспитание, которое я получил, не было ни католическим, ни еврейским. Я и то и другое — или ни то ни другое, жи-допапист, катоиудей, римско-иерусалимский кентавр, ни рыба ни мясо, гибрид, беспородная дворняга. Как теперь пишут на коробках? Гомогенизированная смесь. В общем, господа, полу-фабрикат «Бомбей»<sup>4</sup>.

«Чатнификация» стала синонимом постколониальной субъективности, однако она прочно обустроилась в городах, так как город — это пространство движения, собирания, скопления и взаимодействия. Чатни, метафора расового смешения, — это в высшей степени бомбейский образ, отличающийся от языкового разделения, которое образует индийскую нацию. Бомбей вполне может быть источником той веры в гибридность, которой так хорошо известны Рушди и Бхабха. Чатнификация открывает дорогу для радикального пересмотра самого понятия субъективности. Это проявляется в языке города — бомбейском, который является смесью хинди и маратхи, гуджарати, английского и сленга.

Кроме очевидного этнического смешения, как у Мавра Зогойби, понятие гибридизации может быть также прочитано как процесс перемещения между разными категориями идентичности, а не как процесс культурного смешения, подразумеваемого чатнификацией. Такое перемещение позволяет разотождествить субъектов с государством и другими формами производства границ. Это происходит в транскультурном пространстве, контактной зоне, где сама гибридность может быть рассмотрена скорее как пространство переговоров, чем форма контаминации, как гетеротопное пространство, в котором границы между собой и другими размываются, пространство, где значения устанавливают путем переговоров, где, в каком-то смысле, писатель и читатель, говорящий и слушающий, колонизатор и колонизированный, гражданин и подданный меняются в конституирующем их сообществе.

Космополитизм Бомбея особенно сфокусирован на сосуществовании религий. В книге Ашока Бэнкера «Мальчик с Бикаллы» юный Нейлкант Хавери — плод смешанного брака. Его мать — христианка, а отец — индуист, «Мальчик с Бикаллы» — книга о сосуществовании, повествование о Бомбее как о плавильном котле меньшинств. В доме его деда Нейл «вдыхал индийское захолустье... вдыхал разочарованные иммигрантские сообщества, евреев, мусульман, англосаксов. Он вдыхал плавильный котел, которым была Бикалла» (219).

Хотя, как открывает главный герой романа Робертса «Шантарам» Линдсей, полиморфный город сосредоточен в разных кварталах и базах, торговых или религиозных:

Но вскоре я убедился, что эти границы, как и прочие демаркационные линии в этом городе, с его смешением языков и культур, не так уж строго соблюдаются. В мусульманском квартале встречались и индуистские храмы; на базаре Завери среди сверкающих драгоценностей попадались овощи, и практически возле каждого многоэтажного дома с роскошными квартирами простиралась трущобы<sup>5</sup>.

---

4 Рушди С. *Op. cit.* С.

5 Робертс Г.Д. Шантарам. М.: Азбука, 2015.

То же можно сказать и о демаркации экономического неравенства: город гораздо более текуч, чем кажется на первый взгляд. Для Бомбея характерна тревожная свобода: не-идентификация ни с деревней, ни с нацией приводит к принятию разнообразия и различий, толерантности и смешению. Но этот пьянящий космополитический микс находится в конфликте с двумя ограничивающими силами: национальным государством, с одной стороны и, в случае Бомбея, с этническим и религиозным фундаментализмом. Для одного писателя за другим национальное государство Ганди вступает в противоречие с многогранным и свободным духом города. В то же время, ужас перед индустриальным фундаментализмом партии «Шив сена», покусившемся на саму идентичность Бомбея, действует как не менее репрессивная сила. Для бомбейцев государственная власть и расовая истерия представляют две формы политического насилия и в случае с «Шив сена» и волнений 1992 года форму тиранического коммунизма, который навсегда изменил город. Если мы немного расширим эти понятия, мы увидим, что два самых заметных препятствия для космополитической открытости в целом — это государство с его различными формами структурного угнетения и этничность с ее столь же жестким социальным и символическим принуждением.

Постколониальный город — пространство, из которого мы можем понять не только отделение субъектов государства и его националистической идеологии, но и рост глобальной миграции людей. Это уточняет наше представление о перемещении между нациями, из «постколоники» в метрополию, схватывая суть этого явления в понятии транснации. Независимо от того, зайдём ли мы так далеко, чтобы утверждать, что нация при глобализации стала отсутствующей структурой, она до сих пор является категорией, с которой прежде всего приходится соперничать понятиям идентичности (хотя важность этничности и религии в политиках идентичности резко выросла). Одним из главных допущений современности и наций самих по себе было то, что культура по своей природе национальна. Открытие того, что культура, как и капитал, может перетекать сквозь национальные границы, подрывает современный нарратив о нации, и последние два десятилетия мы могли наблюдать скоординированную борьбу с идеей современного национального государства как хранилища культуры. Сформированное под большим влиянием постколониальной теории, глобальное воображаемое характеризуется гетерогенностью, гибридностью, текучестью и подвижностью; новым транснациональным характером культуры; трансформацией глобального на уровне локального и распространением локальных культур по всему миру при посредничестве диаспор.

Так как постколониальный город выражает собой вековое движение из деревни в город, но в утрированной форме и с добавлением, в таких городах, как Бомбей, огромного разнообразия языков, культур, каст и классов, он становится прекрасным примером гладкого пространства транснации. Кажется, даже структуры городского управления не могут его контролировать, тем более структуры нации. Тем не менее две складки определяют политическую реальность, вокруг которой закручивается гладкое пространство постколониального города: это силы государственного контроля и коррупции, а также рост фундаменталистского насилия. Чтобы понять значимость этого гладкого пространства, нам надо проанализировать, до какой степени

литература определяет город с его неуправляемым разнообразием, сложностью и бесконечной адаптивностью в противовес гегемоническим государственным структурам и бессмысленной упертости фундаментализма. Это особенно касается бомбейских романов, которые, вероятно, обязаны своим расцветом в 1980-е ощущению жизни в коррумпированном государстве, коррупции, нагляднее всего воплощенной в тираническом режиме Индиры Ганди. В романах Рушди и в особенности Рохинтона Мистри эра Индиры Ганди становится готовой метафорой призрачного, но тем не менее агрессивного присутствия государства с его коррупцией и несправедливостью. Как сказано в «Детях полуночи»: «Вдовы рука длинна как смерть, пальцы зелены, ногти черны, длинные, острые»<sup>6</sup>.

## ЙОХАННЕСБУРГ

Как и другие постколониальные города, Йоханнесбург как африканский экономический гигант привлекает мигрантов со всего континента. Непростые отношения постколониальных городов с национальной мифологией, которая неизменно дислоцирует себя в негородском сердце страны, еще больше усугубляются, когда белый государственный аппарат управляет черной нацией. Большинство постколониальных городов было основано колониальной администрацией, свеженазначенной для проведения экономической повестки, а в случае с Йоханнесбургом, город возник на волне золотой лихорадки и не имел других причин для существования, кроме открытия золота в 1880-х годах.

Эта особенность города означала, что Йоханнесбург сохранял разношерстное, смешанное население: его экономически центральное положение привлекало мигрантов со всей Африки. Официальной реакцией на это стал паноптикум: тюрьма, построенная в 1892 году Паулем Крюгером в Южно-Африканской республике (Трансвааль), была расширена в 1899-м и с добавлением крепостных стен стала фортом. Он служил бастионом против британских вылазок во время Англо-бурской войны (1899–1902), но никогда не играл ключевой военной роли. Скорее, он был наблюдательным пунктом, с которого силы Крюгера могли следить за шахтерами-иностранцами (ойтландерами) в том шахтерском лагере, каким по сути был Йоханнесбург, где, как думал Крюгер, шахтеры готовили заговор с целью его свержения (Gevisser 509)<sup>7</sup>. Когда в 1983 году тюрьма была закрыта, место многие годы оставалось заброшенным, пока в 1996 году судьи недавно созданного Конституционного суда не объявили, что оно станет домом для нового суда.

Конституционный суд — сам по себе символ двойственности, сопутствующей освобождению страны от апартеида и приходу к вла-

6 Рушди С. Дети полуночи. М.: Corpus, 2014. С.

7 Самым поражающим и, пожалуй, символическим примером служат укрепления, которые были замаскированы под холмы, тогда как фасады с гербом ЮАР смотрели внутрь. Как отмечает Марк Гевиссер, это показательная картина лагерной ментальности голландских колонистов и, в ретроспективе, метафора недалекости их преемников, африканерских националистов (Gevisser 510).

сти Африканского национального конгресса. Построенный на месте печально знаменитой тюрьмы Номер 4, суд символизировал идею перестройки и примирения и был направлен, как заявил Табо Мбеки на его открытии, на «решения, ориентированные на защиту и укрепление свободы и прав человека» (цитируется по Garson). Такая утопическая цель здания, предназначенного для того, чтобы служить национальной идеологии, задает рамку конфликта между идеологией и утопией, оставшегося неразрешенным со времен «Идеологии и утопии» Карла Маннгейма. Сколько бы Конституционный суд ни представляли символом свободы, сложно не заметить тот факт, что его функция — служить аппарату национальной власти. Его пространство организовано так, чтобы служить государственной идеологии, хотя оно при этом и сохраняет утопический элемент, который, как утверждает Эрнст Блох, всегда парадоксально присутствует в любой идеологии.

Этот парадокс олицетворяет противоречивую и безудержную природу самого города. Самый влиятельный теоретик пространственности Анри Лефевр утверждает, что воображаемые качества пространства делают его открытым для трансформации теми, кто подчиняется городским властным аппаратам. «Стратегиям, планам и программам, навязываемым сверху» противопоставляется «контрпространство, встречные планы и встречные проекты»<sup>8</sup>. Лефевр утверждает, что все граждане имеют право на город, право на различие, и что переосмысление места — ключ к его трансформации: «Чтобы изменить жизнь, надо изменить пространство» (цитируется по Merrifield 108). Этот тезис очень точно описывает функцию транснации и статус города как ее самую динамичную локацию. Динамика изменений, мобильности и пересечения границ и есть суть транснации.

Хотя концепт чатнификации, представленный Бомбеем, легче укладывается в понятие «третье пространство высказывания» Хоми Бхабхи, понятие «Третье пространство», которое предложил Эдвард Сойя, более применимо к пространственному потенциалу постколониальных городов. Тогда как Первое пространство относится к «чистой материальности пространственных форм» — объективным, материальным и формальным элементам пространства (75), таким как здания, сады и улицы, Второе пространство — к репрезентации пространства, то есть планам и проектам реконструкции, Третье пространство более ускользающее понятие, включающее в себя:

Познаваемый и непознаваемый, реальный и воображаемый жизненный мир опыта, эмоций, событий и политических выборов, который экзистенциально сформирован продуктивным и проблематичным взаимодействием центра и периферии, абстрактным и конкретным, эмоциональным пространством концептуального и трансформации (пространственного) знания в (пространственное) действие в поле неравномерно развитой (пространственной) власти (Soja 31).

Так же как гибридизация в романах Рушди может рассматриваться как постоянное перемещение за границы идентичности, так и Третье пространство, как его понимает Сойя, — постоянное взаимодействие

---

<sup>8</sup> Лефевр А. Производство пространства. М.: Strelka Press, 2015. С.

между центрами и перифериями, которое показывает, как функционирует транснация.

Два недавних южноафриканских романа, «Зоосити» Лорен Бейкес (2010) и «Сестра-сестра» Рейчел Задок (2013), показывают, как ризоматическая взаимосвязь расы, класса и гендера циркулирует между социальными и пространственными структурами города и под ними. Показывая город как пространство, за которое идет борьба, как комплекс подземных систем, они раскрывают бунтарскую динамику окраин. Оба романа предлагают научно-фантастическое прочтение скрытых уровней города, радикально обнажающих текучесть, мобильность и сложность постколониального города.

«Зоосити» представляет Йоханнесбург, в котором люди, совершившие преступление, при помощи магии прикрепляются к животным: получивших такое наказание называют «озверевшими» или «апосимбиотами», «апосами» или «зоо». Главная героиня романа, Зинзи Десембер, бывшая журналистка, лечащаяся от наркотической зависимости, прикреплена к ленивцу после убийства своего брата. Она живет в некогда только белом, но сейчас обнищавшем черном пригороде Хилброу, который прозвали «Зоосити» из-за большого числа «озверевших», беженцев и бедняков. Зинзи пытается вернуть долг своему наркодилеру: она берет с людей плату за свои услуги — особый дар по поиску пропавших предметов и умение сочинять мошеннические электронные письма. Очевидное измерение «Зоосити» — его межвидовая сложность, которая вызывает призрак расы в постколониальной среде, недалеко ушедшей от ситуации, в которой к африканцам относились как к не вполне людям.

В центре обоих романов находится тело, в особенности тело нерегламентированное или аномальное. По Лефевру, «все социальное пространство развивается из тела» которое «предвосхищает уровни социального пространства и их взаимосвязи»<sup>9</sup>. Барбара Хупер утверждает, что тело работает как гражданская метафора — «тело и орган власти, тело и социальное тело, тело и город, тело и гражданское тело» (цитируется по Soja 114). Она считает, что индивидуальное тело используется как признак здоровья или болезни социального тела и что общественное представление, «одержимое страхом неуправляемых и опасных элементов», стремится контролировать эти тела, устанавливая границы и охраняя их (114). Радикальный подрыв нормальных тел через их превращение в апосимбиотов закладывает основу для иного способа восприятия социального пространства.

Репрезентация Бейкес и Задок бытия-в-городе открывает урбанистическое измерение сегрегации по расовым, классовым и гендерным признакам, характерной для колониального господства. В то же время они показывают, как эти пространства могут быть трансформированы через «критическое пространственное воображение» (Soja 31). Транснация — не исключительная вотчина маргинализированных, но маргинализированные герои этих романов яснее показывают, что аутсайдеры быстрее осознают пространство, окружающее структуры города, которые сами воспроизводятся в политических структурах государства. Это особенно справедливо в случае женских персонажей, вокруг которых построены эти романы. Как отмечает Лиза Даудолл, подземные пространства играют ключевую роль в литературной гео-

---

9 Там же. С.

графии романов, что подтверждает «центральную роль, которую они играли в развитии Йоханнесбурга как метрополии и Южной Африки как национального государства» (71).

Зинзи, Тули, Синди... Опытные штурманы вертикального измерения постколониального городского пространства, погружающиеся в недра города, чтобы исследовать канализацию, подземные ходы и водостоки и найти там потенциальный выход или убежище. Однако трансформируя цели, для которых эти конструкции были изначально спроектированы и построены, эти герои показывают, что их собственные цели, воображаемые и реальные, не предустановлены, а адаптивны и импровизационны (Dowdall 72).

Вертикальная природа города, которая делает его одновременно и палимпсестом, и ризомой, простирается от вершин Хиллброу, Зоосити, с его заброшенными квартирами, пожарными лестницами и самодельными тротуарами, вниз к водостокам и туннелям. В свою очередь, на все эти уровни наслаивается история. Подземное пространство города значимо, потому что это подземное измерение национального государства, в котором передвигается и существует транснация. Эти подземные стоки и туннели являются пространствами памяти, не замеченными Историей, и они очень важны в свете концепта Третьего пространства. Когда Зинзи, прогуливающуюся вдоль подземного канала, поток воды загоняет в нишу, она видит «современный цемент, уступающий место старой кирпичной кладке... Викторианский отголосок золотых дней города» (209). Такое движение между вертикальными и подземными слоями истории отличает повседневные передвижения населения.

Несмотря на избыток символических особенностей романов, связанных с расой, они демонстрируют функционирование транснации, в пространственном и метаформическом смысле, в Первом, Втором и Третьем пространстве. Они показывают, почему литература идеально подходит для уточнения различных граней транснации. Отдельные города указывают на особые культурные последствия, и пространственная теория Сойи прекрасно подходит для того, чтобы раскрыть горизонтальные и вертикальные перемещения транснации в таком городе, как Йоханнесбург.

## СИНГАПУР

Сингапур завершает трио поразительно непохожих друг на друга постколониальных городов. Жители Сингапура находятся в тяжелом положении, в отличие от всех других постколониальных городов, кроме Гонконга. Действительно, эти два города-государства, которые были созданы как стратегические и экономические хабы, уникальны тем, что их население борется с национальным мифом при новых авторитарных режимах и ведет непростую борьбу за язык и свое видение будущего. Возникает вопрос: каким образом литература этих постколониальных городов, без конца втягиваемых в сеть глобального капитала, может предложить видение надежды, основанное на возможности циркуляции в обход общих городских и государственных структур?

Сингапур — колониальное изобретение, рыбацкая деревня, назначенная имперским центром, когда империя распространялась по миру. Такое случалось со многими городами, но ни один не был основан, чтобы быть центром глобальной экономики, так декларативно, что объясняет особенно проблематичное отношение его населения к истории, культуре и пространству. Сингапур — нация поселенцев, где большинство составляют потомки не белых колонизаторов, а колонизованных китайских мигрантов. Он не имеет глубокого культурного и экономического прошлого, которое бы было стерто колониальной властью. Он начал свое существование как город-государство при совершенно модернизированном понимании государственности. Его культурный символ, химерический Мерлайон, разработанный Сингапурским советом по развитию туризма, больше напоминает Диснейленд, чем культурную мифологию.

Помимо того что он глобальный хаб и вразрез с общепринятым представлением об островном городе-государстве, Сингапур — также транзитивное пространство потока, географический и метафорический остров, город-государство, в котором писатели вынуждены разными способами бороться с авторитарным режимом однопартийного государства. Однако этот поток происходит на как минимум двух уровнях, уровне глобальной экономики, которая никогда не спускается на землю, и на локальном уровне, уровне людей.

Как ни парадоксально, в 1999 году премьер-министр Сингапура Го Чок Тонг в своем выступлении в День национальной независимости язвительно согласился с различием между космополитическими гражданами и «автохтонами»:

Первую группу я называю «космополитами», потому что их мировоззрение интернационально. Они говорят по-английски, но они билингвы... они производят товары и услуги для глобального рынка... Вторая группа, «автохтоны», зарабатывает на жизнь внутри страны. Их интересы и ориентация скорее локальны, чем интернациональны. Их навыки неконкурентоспособны за пределами Сингапура. Они говорят на сингапурском варианте английского... (Рооп 36)

Понадобится много времени, чтобы объяснить, почему сингапурцы видят себя сегодня застрявшими в промежуточном пространстве между глобальным и национальным, пространстве, определенном в категориях класса. Хотя Го Чок Тонг увидел в этом различие между прошлым и будущим, это соотносится с двумя способами понимания нации, как транснациональности и как транснации. Классовое измерение космополитизма — одна из причин быть внимательными к терминам. Го хорошо разглядел, что «транснациональность» — прерогатива образованной «космополитической» элиты. Хотя в Сингапуре наблюдается повсеместное желание примкнуть к этому космополитическому клубу, большая часть общества, страта, которая, несмотря на то что занимает положение транснации, существует вне нормального политического дискурса города-государства, лишена этой возможности.

Транснация Сингапура, невзирая на свою довольно демократическую природу, по всей видимости, сильнее «иссечена» складками авторитарного государства, чем другие города. В такой ситуации роль

литературы особенно важна в коммуникации и расширении функции транснации. Она передает реальное множество субъектных позиций, ликвидированных гомогенизирующей идеологией государства. Транснациональный город — это глобальный хаб, экономический и судебный центр, очень сильно отличающийся от транснации, так как «эффективное участие в транснациональном возможно по большей части лишь для элит различных обществ» (Dirlik 47). Больше, чем все другие постколониальные города, Сингапур демонстрирует разницу между «транснациональностью» и «транснацией». Но еще одно различие кроется в борьбе между репрессивным правительством и свободной циркуляцией людей, которыми оно управляет. Интересно, что политические складки в Бомбее и Йоханнесбурге менее репрессивны, чем в Сингапуре, более развитом и современном городе. Пропаганда Ли Куан Ю «квиетистского национализма» означала нетерпимость к инакомыслию, как отметил Кирпал Сингх:

Вы предостерегли меня от правдивости  
Общество, сказали вы, терпимое к  
Резким оппозиционным взглядам — не для нас  
Мы выбираем, советовали вы,  
Общественное согласие, не споры (Patke 77).

«Общественное согласие» — типично сингапурская стратегия национальной гомогенизации. Довольно мягкие размышления Сингха почти не учитывают ту истерику, которая начинается практически после любой здоровой критики правительства, даже со стороны оппозиционных политиков, многие из которых были обанкрочены исками за клевету.

Но сила транснации в ее способности идти в обход структур государства и глобального капитала. Субъект «гладкого пространства»<sup>10</sup> транснации не может избежать эффектов транснациональности, участвует ли он в ней или нет, но эти эффекты можно обойти, использовать в своих целях или обхитрить. Как утверждать свою агентность в такой стране, как Сингапур, где правит националистический дискурс, испытывающий параноидальный страх перед инакомыслием? Парадоксальным образом, это делается через язык, в частности язык космополитической элиты, язык колонизаторов.

Состязательные и трансформирующие отношения с колониальным языком — известная особенность постколониального культурного анализа. Колонизированные субъекты империи, часто вынужденные учить английский, апроприируют и трансформируют язык для саморепрезентации. Но тогда как обычно эти отношения складываются между английским и родным языком, в Сингапуре мы обнаруживаем язык и литературу, вынужденные совершать двойную работу и определять свою идентичность в отношении сразу двух левиафанов, путунхуа и английского, ни один из которых не может быть родным языком. Поэтому мы обнаруживаем интересную ситуацию, когда английский и его варианты используются как орудие против авторитарной языковой политики государства. Литература, написанная на английском языке, воплощает некоторые из особых конфликтов

<sup>10</sup> Делез и Гваттари различают «рифленое пространство» государственных институций и власти и «гладкое пространство» социальной ткани, их различие напоминает разницу между основой сотканного текстиля и перепутанными волокнами войлока (Deleuze, Guattari 528).

города, расположенного между двумя мировыми языками с самым большим числом носителей, что в свою очередь отражает противоречие между быстро растущим китайским государством и особым положением города в транснациональном пространстве. Сингапур производит литературу на английском, основанную на диалектике централизованной навязываемой сверху языковой политики и народного выражения культурной идентичности. В свою очередь, культурная идентичность, как в любой постколониальной ситуации, по-разному гибридна, множественна и изменчива.

Английский язык занимает противоречивое место борьбы, что выразилось в появлении синглиша, сингапурского варианта английского. В городе, где бесконечно повторяется мантра «английский для удобства, родной язык для культуры и ценностей», синглиш выполняет подрывную функцию. Как и большинство диверсий, он порожден видением возможности сопротивления государству. Синглиш состоит в противоборстве не только с нормативным английским, но с авторитарным государством, выдвигающим особые директивные требования к языку. Как показывает сингапурская поэзия, синглиш — не «плохой английский», а язык со своей логикой, ритмом и музыкой. Послушайте двух матерей, разговаривающих в стихотворении Япа «Две матери на детской площадке муниципального дома»:

Еще мы достали новую мебель, купили в Дитхельме,  
 Диван такой мягкий, я даже не решаюсь присесть. Они все  
 Сидят так, как будто не хотят вставать, такой дорогой  
 Почти две тысячи долларов, точно хороший (Yap 1980: 55).

Значение синглиша для литературы — в той легкости и тонкости, с которой он становится проводником социальной критики. Использование «разговорной» формы — косвенное признание многоплановой борьбы за власть, которая может происходить в языке, борьбы, которая многое выигрывает от утонченности в обществе, предельно чувствительном к политической критике. Но в то же время это показывает, как язык и языковая политика государства увеличивают классовый разрыв.

Синглиш и другие местные языки служат напоминанием о том, что речь и письмо принципиально разные онтологические феномены. Сказанное слово, в отличие от написанного, коллективно, тогда как написанное имеет свой потенциал, перспективу и видение, оно предстает перед нами на странице как нечто абсолютное и неоспоримое в своей осязаемости. Сказанное слово, напротив, получает потенциал благодаря своей связи с сообществом. Это говорит о политической силе синглиша в Сингапуре: он подает себя как соперник государственных структур и структур нормативного языка, который государство считает необходимым для экономического процветания. У написанного слова есть преимущества, которых нет у сказанного. Поэтому, когда сказанное слово, от которого исходит дух коллективной взаимосвязанности, неподвластной государству, дух транснации, оказывается записано, происходит интересная вещь. У него есть края, но они размыты. Они размываются всякий раз, когда народный язык транскрибируется с помощью английского. Народный язык инсценирует, а не репрезентирует, его появление на странице и бросает вызов, и оскорбляет. Будучи записанным, он нарушает порядок на

странице. Вносит неопределенность. Он идентифицируется через различие. Но переход от голоса к тексту является политическим. Текст свидетельствует о бунте языка.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Литература трех постколониальных городов показывает нам различные способы, с помощью которых может быть осмыслено «гладкое пространство» транснции. Бомбей предлагает бьющую через край чатнификацию культуры, этничности и религии. Йоханнесбург — горизонтальные и вертикальные пространства города как метонимии расовых различий. Сингапур — бунтарскую лингвистическую трансформацию апроприированного английского. Все это представляет разные формы мобильности. Все они демонстрируют варианты того, как постколониальные города связаны с «транснциональной» сложностью, но что еще более важно, они выражают разные измерения движения транснции в обход государственных структур. Социальное пространство города — нечто большее, чем политическая и структурная организация его формы. Теория Третьего пространства у Сойи образом, сходным с делёзовским понятием «гладкого пространства», предлагает взглянуть на то, как граждане могут лавировать между структурами, которые призваны их ограничивать. Раскрывая способы, с помощью которых жители пропускают и обходят зов нации, они обнаруживают динамику транснции и ее интенсификацию в постколониальном городе.

Билл Эшкрофт, известный критик и теоретик, один из основателей постколониальной теории, соавтор книги «Империя пишет ответ», первого текста, который систематически исследовал поле постколониальных исследований. Он является автором и соавтором шестнадцати книг, переведенных на шесть языков, более 180 глав в коллективных монографиях и статей, а также членом редакционной коллегии десяти международных журналов. Не так давно завершил работу по Австралийскому профессорскому гранту в университете Нового Южного Уэльса и выпустил монографию «Утопизм и постколониальная литература».

# БИБЛИОГРАФИЯ

- Banker, Ashok. *Byculla Boy*. Delhi: Penguin India, 1994.
- Bauman, Zygmunt. *Globalization: The Human Consequences*. New York: Columbia UP, 1998.
- Beukes, Lauren. *Zoo City*. Oxford: Angry Robot, 2010.
- Chandoke, Neera. 'The Post-Colonial City.' *Economic and Political Weekly* 26.50 (14 December 1991): 2868-2873.
- Clifford, James. *Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century*. Cambridge, MA: Harvard UP, 1997.
- Deleuze, Gilles and Felix Guattari. *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. Transl. Brian Massumi. London: Continuum Books, 2004.
- Dirlik, Arif. 'Culture Against History: The Politics of East Asian Identity.' *Development and Society* 28.2 (1999): 166-89.
- Dowdall, Lisa. *Possible Things: Utopianism in Postcolonial Women's Science Fiction*. Unpublished PhD Thesis, UNSW, 2016.
- Franco, Jean. 'The Nation as Imagined Community.' *The New Historicism*. Ed. Aram Veesser. New York: Routledge, 1989. 204-12.
- Garson, Philippa (2004), 'Constitutional Court: A "Shining Beacon of Hope."' 23 March 2004. [http://www.joburg.org.za/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1195:constitutional-court-a-shining-beacon-of-hope&catid=122:heritage&Itemid=203](http://www.joburg.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=1195:constitutional-court-a-shining-beacon-of-hope&catid=122:heritage&Itemid=203).
- Gevisser, Mark. 'From the Ruins: The Constitution Hill Project.' *Johannesburg: The Elusive Metropolis* [Special Issue. Ed. Achille Mbembe and Sarah Nuttall]. *Public Culture, Society for Transnational Cultural Studies* 16.3 (2004): 507-20.
- Gilroy, Paul. *Small Acts: Thoughts on the Politics of Black Cultures*. London: Serpent's Tail, 1993.
- Hassner, Ron E., and Jason Wittenberg. 'Barriers to Entry: Who Builds Fortified Boundaries and are they likely to Work?' Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, 2009. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1449327](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1449327).
- Jameson, Fredric. 'Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism.' *Social Text* 15 (Autumn 1986): 65-88.
- Lefebvre, Henri. *The Production of Space*. Transl. Nicholson-Smith, Donald. Oxford: Blackwell, 1991.
- McLeod, John. *Postcolonial London: Rewriting the Metropolis*. London: Routledge, 2004.
- Marx, Karl, and Friedrich Engels *The German Ideology*. Transl. C. J. Arthur. New York: International Publishers, 1970.
- Merrifield, Andy. *Henri Lefebvre: A Critical Introduction*. New York: Routledge, 2006.
- Patke, Rajeev S. *Postcolonial Poetry in English*. Oxford: OUP, 2006.
- Poon, Angelia Mui Cheng. 'Constructing the Cosmopolitan Subject: Teaching Secondary School Literature in Singapore.' *Asia Pacific Journal of Education* 30.1 (2010): 31-41
- Roberts, Gregory David. *Shantaram*. Melbourne: Scribe, 2004.
- Rushdie, Salman. *Midnight's Children*. London: Jonathan Cape, 1981.
- . *The Moor's Last Sigh*. London: Vintage, 1995.
- . 'Step Across this Line.' *Tanner Lectures on Human Values, Yale University* 25-26 Feb 2002.
- Soja, Edward W. *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*. Cambridge: Blackwell Publishers, 1996.
- Standing, Guy. *A Precariat Charter: from Denizens to Citizens*. London: Bloomsbury, 2014.
- Yap, Arthur. *Down the Line*. Singapore: Heinemann, 1980.
- Zadok, Rachel. *Sister-Sister*. Roggebai: Kwela Books, 2013.





# устойчивое развитие в интересах будущих поколений: экономические приоритеты

В статье рассматриваются новые проблемы перехода к устойчивому развитию в мире и России. Анализируются долгосрочные цели экологически устойчивого развития для России, роль экосистемных услуг в мире и стране, индикаторы устойчивого развития, особенности перехода к зеленой экономике. Автор подчеркивает, что для большей устойчивости можно не увеличивать объемы использования природных ресурсов и при этом повысить уровень материального благосостояния населения за счет политики «двойного выигрыша» и эффекта декаплинга. Стране нужен федеральный компенсационный эколого-экономический механизм, который учитывал бы ценность региональных экосистем и их экосистемных услуг для страны и всего человечества. Важно поддерживать переход к модели зеленой экономики, который во многом связан с целями модернизации экономики. С учетом национальных приоритетов и особенностей нужно разработать систему индикаторов устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие; индикаторы устойчивого развития; цели устойчивого развития ООН; экосистемные услуги; зеленая экономика.

# УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ — ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В XXI ВЕКЕ

27 декабря 2016 года произошло значимое для будущего социально-экономического развития России событие — состоялся Государственный совет РФ под председательством Президента РФ с повесткой «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». На основе итогов заседания Госсовета Президентом РФ 24 января 2017 года был опубликован Перечень соответствующих поручений Правительству РФ, министерствам, ведомствам, субъектам РФ. Автор принимал участие в подготовке материалов к заседанию Госсовета. Эти материалы легли в основу данной статьи.

В последние годы в мире и многих странах четко проявились тенденции перехода к большей устойчивости с учетом интересов будущих поколений. Наиболее концентрированно новые глобальные вызовы для экологической политики и основные направления экономической трансформации отражены в трех заключительных документах Конференций ООН, принятых в Рио-де-Жанейро (июнь 2012), Нью-Йорке (сентябрь 2015), Париже (декабрь 2015). В заключительном документе Саммита ООН в Рио-де-Жанейро «Будущее, которое мы хотим» в качестве основы перехода к устойчивому развитию человечества было выделено формирование зеленой экономики. В Нью-Йорке были приняты Цели устойчивого развития для всех стран до 2030 года. Парижское соглашение было посвящено борьбе с климатическими изменениями и необходимостью формирования низкоуглеродной экономики в мире. В целом можно говорить о достигнутом в мире консенсусе на развитие в XXI веке, которое связано с переходом к устойчивому развитию.

К сожалению, в России в условиях кризиса и поиска краткосрочных решений по выходу из него обсуждение процессов формирования новых эколого-экономических реалий в мире, связанных с долгосрочными тенденциями, ведется недостаточно. Такая ситуация создает дополнительные риски для будущего страны. Содержание понятия «устойчивое развитие» в России и мире существенно различается. В нашей стране устойчивость соотносится прежде всего с развитием экономики, экономическим ростом (это подчеркивается в стратегиях и программах развития страны, правительственных документах, выступлениях ведущих политиков). В мире трактовка устойчивого развития (sustainable development) гораздо шире (это следует из концептуальных документов, подготовленных в последние 20 лет ООН, Всемирным банком, ОЭСР, Европейским сообществом и др.) — устойчивость трактуется как единая система социальных, экономических и экологических процессов. В противном случае перейти на траекторию устойчивого развития невозможно. Становится все очевиднее, что экономическую устойчивость нельзя обеспечить, не решив социальные и экологические проблемы.

Формирование в стране экспортно-сырьевой модели уже привело к развитию «антиустойчивых» тенденций:

- истощение природного капитала;
- увеличение воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека;

- структурные сдвиги в экономике, повышающие удельный вес природоэксплуатирующих и загрязняющих отраслей;
- значительное уменьшение величин макроэкономических показателей, в которых учитывается экологический фактор;
- высокий уровень показателей природоёмкости и интенсивности загрязнений;
- экологически несбалансированная инвестиционная политика, ведущая к росту диспропорций между природоэксплуатирующими и перерабатывающими, обрабатывающими и инфраструктурными отраслями экономики;
- высокий физический износ оборудования;
- недоучет экономической ценности природных ресурсов и услуг;
- природно-ресурсный характер экспорта и др.

## ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Для перехода к экологически устойчивому развитию России необходимо изменить сложившийся тип развития, переломить «антиустойчивые» тенденции в экономике. Ключевую роль в этом процессе должен сыграть переход от экстенсивной экспортно-сырьевой модели экономического развития к модели устойчивого развития, масштабной экологизации экономики. Данное положение нашло свое отражение в поручениях Президента РФ (январь 2017):

Предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий Правительства Российской Федерации на 2017–2025 годы в качестве одной из основных целей переход России к модели экологически устойчивого развития, позволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе эффективное использование природного капитала страны при одновременном устранении влияния экологических угроз на здоровье человека.

Стране необходимо принять собственную Стратегию устойчивого развития, которая есть во всех развитых странах. С точки зрения экологической устойчивости будущая экономика должна обладать следующими важными чертами:

- в концептуальном плане в экономические стратегии/ программы/планы включаются направления, сформулированные в документах ООН и ОЭСР, посвященных устойчивому развитию, зеленой экономике и росту, низкоуглеродной экономике;

- существенное значение приобретают экологические условия жизни населения и их обеспечение;
- радикально повышается эффективность использования природного капитала и его экономия, что отражается в резком снижении затрат природных ресурсов и объемов загрязнений на единицу конечного результата (снижение индикаторов природоемкости и интенсивности загрязнений);
- приоритет в развитии получают наукоемкие, высокотехнологические, обрабатывающие и инфраструктурные отрасли с минимальным воздействием на окружающую среду;
- уменьшается удельный вес сырьевого сектора в экономике;
- снижается загрязнение окружающей среды;
- внедряются экономические и правовые инструменты, способствующие экологизации экономики.

Все более важное значение в мире приобретает учет фактора человеческого здоровья в условиях негативного экологического воздействия. По имеющимся оценкам, ежегодный экономический ущерб по этой причине может достигать до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей — и до 15%. В наиболее загрязненных регионах страны этот показатель составляет 8-10% валового регионального продукта.

В современных условиях кризиса и дефицита средств сложно ожидать значительного роста затрат на экологизацию экономики. В связи с этим необходима поддержка модернизации экономики на пути реализации политики так называемого двойного выигрыша (win-win policy), связанной как с обеспечением экономической эффективности, так и с достижением экологических эффектов: сокращением вредных выбросов, обеспечением неистощительного использования природных ресурсов, развитием малоотходного производства. Реализация экологических приоритетов должна сочетаться с экономическими задачами страны: экономические мероприятия должны давать как экономические, так и экологические выгоды.

При этом должно происходить своеобразное «слияние» макроэкономической и экологической политики. На национальном уровне примерами такого «слияния» могут быть:

- программа повышения энергоэффективности;
- корректирование налоговой политики (налоговый сдвиг на дополнительное обложение ресурсопотребления и загрязнения);
- реформирование и сокращение предоставления субсидий для видов деятельности, проектов и пр., приводящих к деградации природных ресурсов и окружающей среды;
- введение новых рыночных инструментов;
- переход к «зеленым» государственным закупкам;
- совершенствование экологических норм и обеспечение их применения.

Все это должно повысить конкурентоспособность экологических товаров и услуг.

В России имеются огромные резервы получения экологических эффектов — в виде ликвидируемых потерь и сэкономленных природных ресурсов, снижения загрязнений — за счет стандартных и сравнительно недорогих экономических мероприятий (в том числе — за счет внедрения многих энергоэффективных и экологически чистых технологий). Таких экологических резервов лишены развитые страны, так как эти резервы уже использованы, и получение новых экологических эффектов очень дорого (например, борьба с климатическими изменениями). Не увеличивая объемы использования природных ресурсов, Россия может существенно повысить уровень материального благосостояния населения. В мире такие процессы связывают с эффектом декаплинга (decoupling), основанным на рассогласовании трендов роста экономических результатов (в частности, ВВП), с одной стороны, и потреблении природных ресурсов и объема загрязнений, с другой.

В России направления перехода к новой экономике и к экологически устойчивому развитию в ближайшие десятилетия во многом совпадают. Достаточно привести только пример необходимости радикального повышения энергоэффективности (на 40% к 2020 году), что даст огромный экологический эффект. Таким образом, в ближайшие десятилетия важным принципом социально-экономической политики и основой экологической политики должна стать политика «двойного выигрыша».

## РОЛЬ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ В XXI ВЕКЕ В РОССИИ И МИРЕ

Проблематика экосистемных услуг никогда не рассматривалась в официальных документах России. Фактически эта проблематика исследовалась только в немногочисленных российских научных работах, в том числе и автора. В связи с этим представляется чрезвычайно важным признание значимости этой проблемы на международном и национальном уровнях для страны в поручениях Президента РФ для Правительства РФ: «...разработать план действий, направленных на усиление позиций России при формировании международной природоохранной повестки, а также при обсуждении вопросов, касающихся формирования системы компенсаций (платежей) за экосистемные услуги, исходя из понимания роли России как экологического донора...».

В последние несколько лет экосистемным услугам (ecosystem services), сохранению биоразнообразия, экономическим выгодам от них в мире уделяется огромное внимание. Экосистемные услуги — это выгоды, которые получают люди от экосистем. За последние полвека около 60% мировых экосистемных услуг подорваны в результате антропогенного воздействия. Огромен экономический ущерб от потерь экосистем и их услуг. Только от обезлесения мир теряет экослужб на сумму 2-5 трлн долл. США в год. Оценка глобальных экологических ущербов оценивается в 7 трлн долл. США в год, что составляет 11% глобальной экономики. Около 35% этого ущерба дают 3000 крупнейших мировых компаний, среди которых много энергетических.

В России экосистемы также деградировали на огромных площадях, прежде всего за счет освоения и увеличения добычи полезных ископаемых в новых регионах, экспансии лесного сектора, населенных пунктов и т.д.

Экосистемные услуги России, ее «живой» природный капитал играют важную роль как для страны, так и для всего мира. Россия обеспечивает почти 10% глобальной биосферной устойчивости, превосходя другие страны по этому показателю. В связи с этим идентификация экосистемных услуг, их экономическая оценка из области теоретических научных исследований должны перейти в практическую плоскость и стать выгодными для России, так как страна, очевидно, является глобальным экологическим донором и вполне может претендовать на экономическую компенсацию поддержки своих экоуслуг.

В России для большинства экологически ценных территорий верно правило: «богатая природа — бедное население». Очевидно, что для сохранения природы регионы должны идти на определенные экономические жертвы, ограничивая свою экономическую активность в области природоэксплуатирующих и загрязняющих производств, которые составляют подавляющую часть российской экономики. Другие регионы, не имеющие подобных экологических ограничений (или просто их не учитывая), могут беспрепятственно развивать свою экономику, соответственно увеличивая материальный уровень своего населения. В мире решению таких проблем способствует быстроразвивающийся механизм платежей/компенсаций за экосистемные услуги (payment for ecosystem services) (США, Европейское сообщество, Коста-Рика и т.д.). Стране нужен аналогичный федеральный компенсационный эколого-экономический механизм, который при существующей поддержке регионов из федерального бюджета учитывал бы и ценность региональных экосистем, и их услуги для страны и всего человечества.

## ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Для мониторинга процесса перехода к устойчивому развитию в мире и России необходимо разработать свою систему индикаторов. Требуется оценить «правильность» направления развития. Сложившаяся кризисная ситуация привела к широкому осознанию в мире необходимости новых подходов к измерению прогресса и развития. Традиционные в этой области индикаторы не смогли адекватно ответить на возникновение новых проблем, в частности на проблему устойчивости развития. Парадигма ВВП, служившая человечеству более 60 лет, требует своей существенной коррекции. Этот факт признается все большим количеством ученых и политиков. Здесь можно отметить подписанный лидерами всех стран заключительный документ конференции ООН в 2012 году в Рио-де-Жанейро, в котором подчеркивается неадекватность ВВП современным реалиям. Некорректность современных подходов к оценке прогресса и благосостояния ярко

показана в книге двух лауреатов Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглица и А. Сена «Неверно оценивая нашу жизнь. Почему ВВП не имеет смысла?».

В целом кризис показал, что ориентация на ВВП проблематична для стран с большим природным капиталом и сложными социальными проблемами. Рост ВВП может маскировать деградацию человеческого и природного капиталов.

Россия начала 2000-х годов стала классическим примером иллюзий, связанных с ростом ВВП. Рост базировался на увеличении добычи энергоресурсов, выплавке металлов, вырубке леса и пр., а главное — на росте цен на нефть и газ. Очевидно, что такой рост базировался на истощении природного капитала страны, закреплял формирование экспортно-сырьевой модели, способствовал усилению антиустойчивых тенденций развития страны. Сейчас все долгосрочные стратегии и программы развития страны (до 2020 и до 2030 годов) базируются на парадигме ВВП. Сложившаяся в экономике кризисная ситуация требует значительного пересмотра сложившихся концепций развития. В этих условиях необходимо по-новому оценить роль ВВП. Насколько этот индикатор соответствует долгосрочным целям страны? Можно ли считать его главным критерием выхода из кризиса?

России нужен рост благосостояния населения, включающий экономические, социальные и экологические компоненты качества жизни. А это уже другая логика развития и измерения социально-экономического прогресса. В связи с этим не надо гнаться за традиционными количественными показателями, будь то стоимостные индикаторы (ВВП и пр.) или физические объемы производства (энергоресурсы и т.д.). Новая экономика должна делать акцент на качественном, а не количественном развитии.

Необходимость разработки и использования Правительством РФ системы индикаторов устойчивого развития, определения механизмов достижения целей и поэтапного решения задач экологически устойчивого развития территорий регионов на период до 2030 года и на перспективу до 2050 года подчеркивается в поручениях Президента РФ.

В качестве интегральных индикаторов устойчивости в мире наиболее широко используются два: индекс скорректированных чистых накоплений (adjusted net savings) (разработан Всемирным банком) и индекс человеческого развития (human development index) (разработан структурами ООН).

Среди систем индикаторов следует выделить Цели развития тысячелетия ООН (Millennium Development Goals) (2000–2015) и пришедшие им на смену Цели устойчивого развития ООН (Sustainable Development Goals) (ЦУР), принятые ООН в сентябре 2015 года для всех стран мира на период 2016–2030 годов. Система ЦУР содержит 17 Целей, 169 задач и свыше 230 индикаторов для мониторинга и реализации на глобальном и национальном уровнях. Нашей стране, с учетом национальных приоритетов и особенностей, нужно адаптировать ЦУР. Первой попыткой в этом отношении явился «Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. Цели устойчивого развития ООН и Россия», изданный Аналитическим центром при Правительстве РФ в декабре 2016 года. Автор статьи был одним из главных редакторов данного Доклада.

# УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Перспективы развития мировой экономики до 2050 года и в целом в XXI веке в концептуальных документах международных организаций и многих стран связываются с формированием зеленой экономики и зеленым ростом. И в науке, и на практике фактически достигнут консенсус о необходимости формирования нового типа экономического развития, выработки нового зеленого экономического курса. Конкретные контуры такого курса предложены в инициативах ООН по переходу к зеленой экономике (green economy), поддержанных всеми странами, в том числе и Россией, программах зеленого роста (green growth) стран ОЭСР (2008–2015). В итоговом документе Конференции ООН (2012) «Будущее, которого мы хотим» содержатся принципиальные положения по трансформации сложившейся в мире экономической модели. Концепция зеленой экономики не заменяет собой концепцию устойчивого развития. Однако сейчас все более широко признается тот факт, что достижение устойчивости почти полностью зависит от формирования «правильной» экономики.

Зеленая экономика структурами ООН определяется как экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации. Приоритетной чертой роста зеленой экономики является снижение выбросов парниковых газов и радикальное повышение энергоэффективности. В связи с этим широкое распространение получил термин «низкоуглеродная» экономика (lowcarbon economy).

Важно определить структуру и охват зеленой экономики на перспективу. В контексте идентификации поиска путей экологического развития до 2050 года конструктивен опыт Европейского сообщества, в рамках которого разработана политика перехода к зеленой экономике к середине XXI века (2010–2050), намечены основные цели и задачи экологической политики в связи с таким переходом. Макроэкономический и секторальный подходы к формированию зеленой экономики используются в документах ООН, Европейского сообщества. Например, в концептуальных документах развития Европы до 2050 года зеленая экономика отождествляется с системой, объединяющей экосистемы (природный капитал), экономику (физический капитал) и общество (человеческий и социальный капитал), выделяются соответствующие цели.

В настоящее время наблюдается все больше признаков появления новой экономической модели в мире и отдельных странах. Многие государства активно разрабатывают экономические программы, в которых значительное место занимает экологическая компонента. Здесь можно отметить документы многих стран по сокращению выбросов парниковых газов до 2030–2050 годов, План Европейского сообщества 20:20:20 на 2020 год, европейские, американские и китайские программы по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 и 2050 годам, китайский «зеленый план» и т.д. Огромными темпами в мире идет трансформация энергетики в направлении увеличения доли возобновляемых источников энергии при сокращении доли угля.

Переход к зеленой экономике в разных странах будет происходить по-разному, поскольку он зависит от специфики природного, человеческого и физического капитала каждой страны, уровня ее развития и социально-экономических приоритетов, экологической культуры общества. Главная задача российской экономики на современном этапе, отраженная в основных документах развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу, — уход от экспортно-сырьевой модели экономики. Эта задача является центральной и в концепции зеленой экономики. В России направления перехода к модернизации экономики и к зеленой экономике во многом совпадают. В экономические стратегии/программы/планы страны необходимо включить направления, связанные с экологизацией развития и зеленой экономикой.

## ВЫВОДЫ

В последние годы в мире и многих странах четко проявились тенденции перехода к большей устойчивости. В России, в условиях кризиса и поиска краткосрочных решений по выходу из него, обсуждение новых эколого-экономических реалий в мире, связанных с долгосрочными тенденциями, ведется недостаточно. Формирование в стране экспортно-сырьевой модели уже привело к развитию «антиустойчивых» тенденций. Такая ситуация создает добавочные риски для будущего страны. Для большей устойчивости можно не увеличивать объемы использования природных ресурсов и при этом повысить уровень материального благосостояния населения за счет политики «двойного выигрыша» и эффекта декаплинга. Стране нужен федеральный компенсационный эколого-экономический механизм, который при существующей поддержке регионов из федерального бюджета учитывал бы и ценность региональных экосистем, и их экосистемных услуг для страны и всего человечества. Важно поддерживать переход к модели зеленой экономики, который во многом связан с целями модернизации экономики. Нашей стране с учетом национальных приоритетов и особенностей нужно принять собственную Стратегию устойчивого развития, разработать соответствующую систему индикаторов, адаптировать Цели устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

# БИБЛИОГРАФИЯ

Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. UNEP, 2011.

Guide to Corporate Ecosystem Valuation, the World Business Council for Sustainable Development, 2011.

Human Development Report 2015. New York, UNDP, 2015.

Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Washington, DC: Island Press, 2005.

Stiglitz J., Sen A. and Fitoussi J.-P. Mis-measuring Our Lives. Why GDP Doesn't Add Up. New York: The New York Press, 2010.

Towards a green economy in Europe. EU environmental policy targets and objectives 2010-2050. European Environment Agency, Copenhagen, 2013.

World Development Indicators. Washington, DC: World Bank, 2015.

Бобылев С. Н., Захаров В. М. Экосистемные услуги и экономика. М.: Институт устойчивого развития/ЦЭПР, 2009. Bobylev S. N., Zaharov V. M. Ecosystem services and economics [Jekosistemnye uslugi i jekonomika]. Moscow, Institut ustojchivogo razvitija/CJePR, 2009 (in Russian).

Бобылев С. Н., Захаров В. М. Модернизация и устойчивое развитие. М.: Экономика, 2011. Bobylev S. N., Zaharov V. M. Modernization and sustainable development [Modernizacija i ustojchivoje razvitie]. Moscow, Jekonomika, 2011 (in Russian).

Бобылев С. Н., Соловьева С. В. Новые цели для новой экономики // Мир новой экономики. 2016. № 1. Bobylev S. N., Solov'eva S. V. New goals for the new economy [Novye celi dlja novoj jekonomiki]. Mir novoj jekonomiki — The world of new economy, 2016, no. 1 (in Russian).

Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности — обобщающий доклад для представителей властных структур. ЮНЕП, Towards a «green» economy: ways to sustainable development and poverty eradication — a synthesis report for government officials [Navstrechu .zelenoj. jekonomike: puti k ustojchivomu razvitiju i iskoreneniju bednosti — obobshhajushhij doklad dlja predstavitelej vlastnyh struktur]. JuNEP, 2011 (in Russian).

Президент России [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/53602>.

news/53602. President of Russia [Prezident Rossii]. Available at: <http://kremlin.ru/events/president/news/53602> (in Russian).

Цели устойчивого развития ООН и Россия. М.: Аналитический центр при правительстве РФ, 2016. The aims of sustainable development of the United Nations and Russia [Celi ustojchivogo razvitija OON i Rossija]. Moscow, Analiticheskij centr pri pravitel'stve RF, 2016 (in Russian).





# ПОДРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ: ГЕОГРАФИЯ И ЭКОНОМИКА

## ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ГОРОДА ТАКИЕ БОГАТЫЕ?

Некоторые города и регионы всегда намного богаче, чем другие. В настоящее время в число городов-регионов с высоким уровнем дохода на душу населения входят Сан-Франциско, Вашингтон (округ Колумбия) и Цюрих, доходы в которых примерно на треть выше, чем в среднем по стране, а сами страны уже занимают почетное место в иерархии национальных экономик. Доход на душу населения в Сан-Франциско примерно в три раза выше, чем в самой бедной американской городской зоне. Эти различия выражены не только в денежном эквиваленте; они сохраняются (хотя и в сокращенном виде), даже если принимать в расчет разную для каждого региона стоимость жизни и ее качество.

Некоторые из этих различий на международном уровне просто отражают догоняющее развитие. Например, Шанхай и Сан-Паулу сокращали разрыв в развитии с США, и когда-нибудь они, вероятно, смогут достичь уровня самых богатых городов-регионов США и Европы. В прошлом города вроде Буффало, Сиракуз или Кливленда отличались очень высоким уровнем доходов на душу населения. Там создавались огромные состояния, что можно увидеть по большим красивым домам, театрам и другим общественным зданиям, построенным во времена расцвета этих городов. Во многих городах со сравнительно умеренными доходами в Старом Свете сегодня также можно обнаружить отголоски былого богатства — дворцы, театры и исторические памятники. Часто зримые следы прошлого процветания отражают сразу и высокое неравенство, и высокий уровень среднего дохода, как в Венеции, Стамбуле, Севилье или Лиссабоне во времена их расцвета.

Странно, что экономическая теория городов довольно противоречива в отношении существования этих богатых городов и регионов. Большинство специалистов придерживаются основанной на теории общего пространственного равновесия точки зрения, что процветание этих городов не может длиться вечно и их избыточные цены на недвижимость и труд приведут к упадку. В США на первый взгляд это кажется справедливым для таких дорогих городов, как Нью-Йорк, темпы роста населения которого сильно отставали от более дешевых Далласа или Орlando в последние десятилетия. Однако Нью-Йорк показал хорошие результаты с точки зрения роста реальных доходов. Кроме того, есть и другие богатые города, как Сан-Франциско или Вашингтон, — они серьезно увеличили свое население, сохраняя высокий уровень дохода. Отношение между высокими доходами и ценами, с одной стороны, и изменениями в численности населения, количестве рабочих мест и уровне доходов, как мы увидим, достаточно сложное. Тем не менее большинство политиков и экспертов разделяют мнение, что многие города слишком дороги, чтобы продолжать благоденствовать.

Опишем эту ситуацию в экономических терминах. Во-первых, если средние цены (стоимость жизни) высоки, а разница в ценах между данным и другими регионами больше, чем разница в их производительности труда, тогда регион, скорее всего, в беде, особенно если торговые издержки и издержки на перенос бизнеса в другой регион невелики. Это очевидно с точки зрения здравого смысла. Вторая, более сложная вероятность проистекает из модели общего пространственного равновесия ННЭГ. Высокий уровень средних цен (стоимость жизни) на немобильные ресурсы может быть следствием различных причин (например, ограничений на строительство). Высокие цены будут выталкивать из города людей и компании, заработная плата или производительность которых недостаточно высоки, чтобы оставаться в таких местах. В этом смысле сравнительное преимущество региона определяется стоимостью жизни, которая влияет на естественный отбор людей и компаний, таким образом изменяя численность населения региона. Подобная динамика должна приводить к выравниванию уровней полезности между регионами, что я пытался и не смог обосновать. Третий возможный вариант: цены на немобильные ресурсы (недвижимость или местная сфера услуг, например парикмахерских) в целом выше, чем в других регионах, но средняя заработная плата и реальные доходы также выше. В этом случае зарплата и доходы в первичных торгуемых секторах региона отражают инновационную ренту. Эта рента частично перераспределяется как внешний эффект в заработную плату и цены неторгуемых секторов региона. Парикмахер зарабатывает больше, потому что трейдер хедж-фонда делится с ним частью своей инновационной ренты, а вместе они тратят часть полученной ренты на домашнем рынке, стимулируя его рост. Именно это препятствует падению цен и выравниванию полезностей между регионами.

# КАКАЯ ЭТО ОБЛАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ?

В основном теория пространственной экономики предпочитает первый и второй варианты, упомянутые выше. Поэтому она предлагает исключительный взгляд на долгосрочные изменения: города с высокими реальными ценами не могут оставаться таковыми вечно; с ними что-то не так. Я попытаюсь защитить третий подход, отстаивая мнение, что разрушение является ключевой силой в экономическом процессе. Для этого необходимо определить, какие допущения в отношении экономико-географического процесса мы примем. Экономика использует концепцию равновесия двумя способами. В первом случае это инструмент познания для решения задачи эмпирического распределения цен и количества. В географии это территориальное распределение предложения факторов и спроса на них (то есть людей, компаний и капитала), которые лежат в основе этих цен и количества. Данный эвристический инструмент полезен, поскольку позволяет увидеть возможные сценарии в случае изменения базовых структурных (причинных) детерминант. При таком ограниченном использовании можно моделировать, каким образом практически любая комбинация цен, заработной платы, выпуска и населения будет реагировать на шоковую ситуацию. Мы сможем пролить свет на то, как в ответ будут меняться города.

Второй способ использования равновесия куда более претенциозный и занимает центральное место в экономической теории. Считается, что определенные эмпирические аспекты экономики — в нашем случае пространственное распределение населения, выпуска и доходов — должны составлять общее равновесие экономики, в которой рынки открыты в соответствии с «правилом нулевого преимущества». Модель общего пространственного равновесия — пример подобного использования.

Домохозяйства, строители и отрасли промышленности в этом случае являются частью единой для всей экономики системы взаимодействий на уровне цена — количество с разнонаправленной причинно-следственной связью, при этом система предоставляет возможности разумным образом сочетать комбинации рабочей силы, жилья/земли и заработной платы.

Такие модели отражают лишь одну сторону экономического процесса. Они делают акцент только на (долгосрочной) тенденции движения цен и заработной платы в различных местах к некоей средней величине, а также на тенденции к некоторому выравниванию полезностей спустя довольно длительное время после шоков. Эти модели преуменьшают значение нормального функционирования экономики, в ходе которого она сама генерирует для себя шоки в форме инноваций. Инновации приводят к географической концентрации и должны компенсироваться рентой, чтобы стать реальностью, — в свою очередь продуцируя высокую заработную плату и цены в определенных местах и разрыв между регионами<sup>1</sup>. Без подобных инноваций не

---

<sup>1</sup> Обычно на последнее заявление отвечают, что инновационная рента — просто разница в производительности. Следовательно, ничего особенного в этих доказательствах нет. Однако производительность в данном случае измеряет готовность платить как источник стоимости выпуска, причем используется это и для разнородных товаров. Это просто

может быть долгосрочного увеличения среднего уровня благосостояния и доходов во всей экономике, что и является развитием (Aghion, Howitt 1997). Инновации всегда будут приводить к появлению городов и регионов с высокими доходами. День, когда этот процесс остановится и во всех городах и регионах сравняются доходы, станет днем, когда прервется прогресс экономической системы. Таким образом, разрушение — экономическое и географическое — это постоянная величина и необходимое условие развития.

## ПРОСТРАНСТВЕННО- ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ИННОВАЦИОННОЙ РЕНТЫ

Эта последняя точка зрения плохо согласуется с постулатами экономической теории в целом или экономической теории города. Тем не менее с некоторыми пояснениями, как отдельные города-регионы получают инновационную ренту в контексте общего экономического процесса, этот взгляд на самом деле является частью внутренне более согласованного подхода к тому, каким образом города вносят свой вклад в повсеместный рост экономики (ср.: Lundvall, Johnson 2004).

Чтобы проанализировать эти сложные теоретические вопросы, сначала необходимо отступить от строго локальных измерений возможных позитивных внешних эффектов. Экономика роста, в частности модель роста Ромера, доказывает, что возрастающие доходы в масштабах всей экономики — источник долгосрочного экономического роста с учетом ресурсных ограничений (Romer 1986; Romer 1994). Согласно эндогенной теории роста, знания и технологии отличаются от других составляющих экономического процесса. Это не конкурентные составляющие, которые в основном со временем становятся исключаемыми лишь в незначительной степени. Если я сижу на стуле, я конкурирую с вами за него, более того, со временем он придет в негодность из-за постоянного использования. Совсем иная ситуация со знаниями: мы можем использовать истинные знания одновременно, причем бесконечно и без потери их качества. Я также могу исключить вас из числа пользующихся моим стулом, заперев его в комнате или наказывая вас за то, что вы его берете, с помощью защищающего права собственности законодательства. В долгосрочной перспективе знания практически не исключаемы; они утекают от изобретателей к более широкому сообществу пользователей, а юридические ограничения на их использование являются временными. Истинные знания могут накапливаться, так как каждый шаг к понима-

---

тавтология. Единственная обоснованная оценка продуктивности — это сравнение однородных товаров или единиц стоимости и однородных используемых ресурсов с их ценами. Никто не может этого сделать для городов-регионов. Невозможно понять, связаны ли высокие цены в индустрии финансов Нью-Йорка с высокой рентой или производительностью труда, сравнивая ее с производством машин. Это все равно что сравнивать яблоки и апельсины.

нию биологического, химического или механического процесса приводит к его технологическому применению. Каждая такая технология может быть открыта для постепенного совершенствования или может быть заменена на лучший аналог по мере того, как инкрементные знания предыдущего этапа развития достигают новой фазы, которая синтезирует новое из близких областей исследования.

С формальной точки зрения это означает, что производительность в инновационном/НИОКР секторе не подчиняется закону убывающей отдачи. Наращивание полезных знаний в среднем становится все дешевле. Это не распространяется на все области научного знания и верно не всегда, поскольку иногда мы неожиданно сталкиваемся с препятствиями или прошлые достижения приводят к неприемлемым или затратным технологическим, экологическим и социальным побочным эффектам (негативным внешним эффектам). Однако в целом за несколько последних веков средние издержки интеллектуального и технологического прогресса, похоже, снижаются в реальном выражении (Мокур 1991; Rosenberg 1982).

Значение этой простой идеи огромно: инновации могут стать источником долгосрочного безграничного роста. Если отдача от всех дополнительных факторов убывает, это помогает компаниям и частным лицам эффективно размещать заданный набор ресурсов. Тем не менее для экономики в целом эти выводы печальны. Если знания и технологии подчиняются закону убывающей отдачи, то повышения производительности трудно достичь в долгосрочной перспективе (это дорого стоит и, вероятно, будет стоить еще больше). В результате человечество окажется в мальтузианской ловушке борьбы за ресурсы, однажды уже погрузившей мировые доходы в стагнацию на тысячу лет, предшествовавших промышленной революции (Maddison 1982). Наличие возрастающей отдачи объясняет, как экономика может расти благодаря своей собственной внутренней динамике. В этом случае рост не зависит исключительно от таких счастливых случайностей, как хороший климат, обуславливающий рост населения, или чудесный внесистемный скачок знаний (идея, что «знание падает, как манна небесная»).

Однако, как может заметить читатель, есть противоречие между динамикой такого роста — основанной на возрастающей отдаче — и механизмом эффективности или распределения ресурсов в экономике. Механизм распределения ресурсов должен основываться на убывающей отдаче, что позволяет определить конечное или предельное количество ресурсов, необходимых заданному виду деятельности, а затем распределить остальное в других секторах. Теория эндогенного роста практически чудом примиряет эти два принципа. Она показывает, что, даже если отдельные виды деятельности (продукты, отрасли и бизнесы), в которых применяются инновации, являются абсолютно конкурентными (согласно убывающей отдаче), в долгосрочной перспективе экономика в целом не страдает от эффекта убывающей отдачи благодаря удешевлению, распространению и кумулятивному характеру инноваций, ориентированных на рост производительности (Romer 1986; Romer 1994).

Заметьте, что мы далеко ушли от предмета нашего интереса — локальных кластеров. Связь можно установить, задав вопрос: какой механизм соединяет в пространстве и времени отдельные сектора с экономикой в целом таким образом? Начнем со времени. Первопро-

ходцы и пионеры инноваций получают сверхприбыль в форме монопольной ренты; это также означает более высокую заработную плату для людей и более высокие цены на товары, чем обычно. Экономика вознаграждает новое, потому что оно — редкое явление (требуется время, чтобы разгадать его секреты, симитировать новшество и увеличить предложение), а также поскольку инвесторы ожидают, что применение инноваций в будущем повысит общую производительность труда посредством выплаты ренты. Тем не менее парадокс в том, что такого рода мотивации повышения цен и заработной платы носят временный характер. В конечном счете уровень заработных плат и цен будет снижаться из-за распространения инноваций (неисключаемых, неконкурентных и накапливающихся в долгосрочной перспективе) среди остальных компаний, отраслей промышленности, работников и потребителей.

Здесь возникает второй значительный эффект: именно распространение инноваций через широкомасштабное изменение технологических комбинаций и повторное использование технологий (в компаниях, секторах экономики и среди пользователей) создает возрастающую отдачу в экономике в целом. Инновации одновременно дорогостоящи, и первопроходцы получают максимальный выигрыш. Однако в долгосрочной перспективе они сравнительно дешевы — не подвержены эффекту убывающей отдачи, что дает экономике возможность избежать ловушки.

Так что же все это означает для пространственных единиц — городов, регионов и даже стран? Как уже отмечалось, когда речь заходит о географии экономического роста, теория Ромера обычно подкрепляется более ранними работами Маршала и Кеннета Эрроу, посвященными «переливу» технологий на региональном уровне («секреты ремесла витают в воздухе») и «обучению на практике» (Marshall 1919; Arrow 1962). Концепция внешних эффектов Маршалла — Эрроу-Ромера (МЭР) широко используется в региональной практике<sup>2</sup>.

Если бы единственным источником роста отдачи являлись технологии с ограниченным локальным доступом, тогда в действительности инсайдеры могли бы проводить ценовую политику, нацеленную на получение полной отдачи от инноваций в форме локализованной технологической или интеллектуальной ренты<sup>3</sup>. В таком случае вряд ли стоило бы рассчитывать на устойчивый экономический рост, который наблюдается на Западе с 1820 года. Вместо роста отдачи в экономике в целом происходило бы долгосрочное накопление ренты среди определенных удачливых регионов или людей (Mokyr 1991). Знания стали бы экономически исключаемыми, поскольку были бы исключаемыми географически. Несущий каркас теории внешних эффектов Ромера был бы сломан. Неисключаемость, неконкурентность и кумулятивный характер знаний были бы уничтожены в самом заро-

---

2 25 января 2008 года поиск Google выдал 221 тысячу результатов на запрос «MAR externalities»; 13 июня 2012 года их число выросло до 509 тысяч.

3 Основной предмет дебатов между неоклассическими и менее традиционными моделями экономического развития — как долго регион или страна могут получать ренту, пока она не сойдет на нет из-за роста издержек, технологических изменений или по другим причинам, а также как такая кратко- и среднесрочная рента соотносится с более длительным процессом экономического развития. Стоит повторить, что строгая неоклассическая теория делает акцент на возвращении к равновесию, тогда как работы, основанные на эволюционной парадигме или историческом подходе, подчеркивают циклическое и кумулятивное сохранение преимущества.

дыше. Примерно так же китайские императоры поступали в XIV веке с некоторыми изобретениями.

Географическое приложение теории Ромера с ее подходами к локализации и распространению стоит принимать во внимание историкам экономической мысли, которые пишут о Великой дивергенции между Европой и остальным миром в XVII и XVIII веках. Некоторые компании и территории получают ренту в течение определенного времени, а затем она постепенно снижается, когда проявляется потенциально неконкурентная и неисключаемая природа технологии, делая возрастающую отдачу реальной в масштабе экономики<sup>4</sup>. Возрастающая отдача реализуется только через географический и организационный процесс, в котором экономика проходит путь от локализации и монополевой ренты к географическому (следовательно, экономическому) распространению технологий и исчезновению ренты. Данная точка зрения лежит и в основе классических работ по географии распространения инноваций (Pred, Hagerstrand 1967).

Основной вывод из этого предположения заключается в том, что, строго говоря, не существует так называемых внешних эффектов МЭР. Вместо этого существуют МЭ-источники локальных технологических экстерналий и возможной локальной монополевой ренты, но настоящие Р-источники возрастающей отдачи во всей экономике не могут оставаться локализованными. Экономический (ценовой) эффект от локализованных экстерналий и ренты, таким образом, нужно рассматривать в более широком контексте как часть процесса подрывного роста, способствующего распространению богатства после первоначальной его концентрации<sup>5</sup>. В этой более широкой перспективе внешние эффекты, которые хороши, скажем, для Лондона, также благоприятно скажутся тем или иным образом на Манчестере, даже если впоследствии могут вызвать долгосрочное снижение благосостояния города.

Новая формула этого процесса выглядит следующим образом. В период времени  $t_1$  инновации появляются в определенных местах

---

4 Что можно сказать о сценарии, в котором благодаря локализованному процессу обучения, совместному использованию и переработке технологий происходит локализованный рост отдачи? Это хорошо описанное явление. Однако круг бенефициаров будет ограничен в случае, когда использование подобных технологий остается локальным, если производители непременно захотят получать монопольную ренту от используемых знаний. Значительная часть литературы по региональной экономике утверждает, что именно так они и поступят, поскольку это потенциально объясняет, почему в некоторых регионах сохраняется высокая цена на землю и труд. Тем не менее на каком-то этапе развития положительный эффект таких технологий все же распространяется за пределы региона, что с большой вероятностью связано с кодификацией знаний, децентрализацией и исчезновением монополевой ренты из-за появления на рынке новых конкурирующих производителей. Оба эти процесса расширяют базу для эффектов роста Ромера. Как всегда, не обошлось без научной дискуссии — между сторонниками утверждения о том, что долгосрочный источник инноваций связан с шumpетерианским процессом, и теми, кто верит, что он заключается в обычной производственной функции инноваций. С последней точкой зрения можно ознакомиться в работе Джонса (Jones 2004). С первой — в работе Айона и Ховитта (Aghion, Howitt 1997).

5 В литературе, посвященной локальным источникам технологических изменений, часто упоминаются «экстерналии Джекобс» (Jacobs 1969). Принято считать, что Маршалл обратил внимание на внутриотраслевой технологический «перелив», то есть на преимущества специализации, тогда как Джейн Джекобс считала важным разнообразие и знания, получаемые от столкновения с неизвестным, то есть выгоды неспециализированной локальной экономики. Любопытно, что нет упоминаний внешних эффектов Джекобс — Ромера. В любом случае я буду придерживаться следующей конструкции: если существуют Джекобс-источники технологических изменений, им нужно пройти через стадию экономического и географического распространения или делокализации для того, чтобы вносить вклад в рост отдачи во всей экономике. В противном случае они тоже зафиксируются в качестве локализованной технологической ренты.

и организационных структурах (компаниях). География этих инноваций часто отражает МЭ-эффекты близости и стремление к локализации. В течение некоторого времени инновации приносят монопольную ренту. Ее можно получать до тех пор, пока сохраняются препятствия для имитации (барьеры на пути распространения знаний или торговые/коммуникационные издержки, связанные с использованием технологии), то есть когда имитация эффективно, если не юридически исключается. Действительно, некоторые исследования показывают, что региональная концентрация патентных сообществ скорее выросла, а не снизилась в последние годы; вероятно, увеличивается срок, в течение которого локальные кластеры могут получать ренту (Sonn, Storper 2008; Moretti 2012; Malecki 2010).

В период  $t_2$  эти инновации получают более широкое распространение. Знания все лучше поддаются имитации и копированию по мере того, как их использование расширяется, поскольку в этом случае они систематизируются, что позволяет большему количеству людей научиться их использовать — тем самым снижаются издержки их распространения среди других регионов и на другие сферы деятельности. В реальности основанная на инновациях шумпетерианская конкуренция замещается стандартной конкуренцией эффективности с широким доступом к технологиям и возможностью имитировать, что снижает цены до уровня средних издержек. Географическая динамика этих процессов описывается пространственными версиями продуктового цикла, но это касается лишь отдельных случаев (Norton, Rees 1979). Географическое распространение инноваций и все более широкое применение знаний постоянно воспроизводят инновационный процесс. Это является драйвером долгосрочного роста в модели Ромера.

Данный процесс повторяется бесконечно. Точные параметры создания технологий, торговые издержки и ограничение имитирования, ромеровское распространение и повторное применение технологий всегда будут определять пространственную иерархию доходов, а также время, необходимое для перехода от стадии получения ренты (стадии первопроходцев) к возрастающей отдаче во всей экономике и увеличению масштабов этого эффекта. В основе лежит география инноваций: запускается очередной инновационный процесс и зарабатывается новая монопольная рента. То есть локально высокие цены и заработная плата не являются признаками плохо функционирующего или нежизнеспособного города-региона. В динамичной экономике даже издержки перегруженности урбанизированных территорий есть отражение спроса на место с положительными внешними эффектами, что позволяет получать ренту. Эти дорогие места работают не только на собственное благо, но и на экономику в целом — манифестация подрывной экономики.

Но подождите. Разве мы не признали, что такая рента должна быть временной, чтобы внешние эффекты МЭ (локализованные) обернулись выигрышем для всей экономики в целом (Р-эффект)? А если так, не является ли это другим способом сказать, что городская система — просто гигантский механизм усреднения, как это утверждает теория общего пространственного равновесия? Все это зависит от того, что же мы считаем временным. В следующих двух разделах я объясняю, что даже если инновационная рента и должна быть временной, она оказывает определенное долгосрочное влияние на цены

и реальные доходы территорий. Сначала я предлагаю это обсудить на конкретных примерах, а затем представлю теорию.

## И СНОВА О КОНВЕРГЕНЦИИ

Большинство работ по исследованию доходов городов, регионов и стран от классической теории торговли до НЭГ и ННЭГ посвящено поиску долгосрочной межрегиональной конвергенции доходов для подтверждения теоретических построений (Sala-i-Martin 2006; Pomerantz 2000; Barro, Sala-i-Martin 1995). Когда признаки конвергенции отсутствуют или выражены менее ярко, чем предполагалось, ученые сосредотачиваются на выявлении причин. В литературе по международному развитию обычно упоминаются барьеры для мобильности факторов производства, так как международная торговля сейчас настолько обширна и диверсифицирована, что не создает препятствий для конвергенции (Helpman 2004).

Внутри государственных границ — используя США как типичный пример — большинство исследований выделяет долгосрочную тенденцию к конвергенции доходов между штатами и использует ее в качестве доказательства гипотезы о конвергенции в условиях высокой мобильности факторов производства (Hammond, Thompson 2008; Carlino, Mills 1996). Однако при ближайшем рассмотрении динамика конвергенции доходов среди агломераций не подтверждает этой точки зрения. Целый ряд исследователей доказывают, что, хотя и есть бета-конвергенция между регионами (тенденция к сокращению разрывов между парами регионов), сигма-конвергенция (общее сокращение разброса подушевых доходов) отсутствует (Drennan, Lobo, Strumsky 2004; Drennan 1999; Drennan, Tobier, Lewis 2006). Энрико Моретти обнаружил, что новая Великая дивергенция в заработной плате среди американских агломераций началась для высоко- и низкоквалифицированных работников в 1980-е годы и с тех пор устойчиво нарастает (Moretti 2012). Теория подсказывает, что существует две причины, почему бета-конвергенция не присоединяется к сигма-конвергенции. С одной стороны, изначально небогатые городские ареалы демонстрируют тенденцию к сокращению разрыва со значительно более богатыми — это исходное преимущество отсталости, или эффект Гершенкрона, свойственный догоняющему развитию. Однако подобные эффекты не могут проецироваться на конвергенцию, поскольку преимущество отсталости сокращается при переходе к новому уровню развития и экономики часто попадают в ловушку среднего дохода, означающую стагнацию. Именно поэтому годовые темпы роста в Бразилии, равные 10% в 1950-е и 1960-е годы, сошли на нет в 1970-е. Если бы этого не произошло, доходы на душу населения в этой стране сейчас были бы равны соответствующему показателю Соединенных Штатов. Аналогично, совершенно не обязательно, что Эль-Пасо однажды станет так же богат, как Нью-Йорк, или что похожие на него города вообще когда-либо достигнут такого уровня благосостояния.

Их совокупное расхождение отражает сложные комбинации периодов нестабильности и подъема в судьбе отдельных городов. В США

некоторые старые промышленные города вроде Буффало или Детройта скатились вниз в рейтинге реальных доходов, в то время как Бостон, Нью-Йорк и Вашингтон остались на лидирующих позициях; некоторые новые города Солнечного пояса, такие как Хьюстон, уверенно продвинулись вверх, а иные, например Браунсвилл в Техасе, — нет. В целом распространение капитализма в США (или в другой стране и регионе мира) приводит к формированию изначального бета-эффекта, похожего на конвергенцию, но ловушки среднего дохода и избирательность развития снижают его действие и сохраняют сигма-эффект дивергенции. Конвергенция во многих смыслах является уравнивающей иллюзией, отражающей то, как распространялся (по странам) капитализм или как промышленная структура выравнивалась внутри национальных границ. В реальности функциональные различия территорий (внутриотраслевые, в том, что касается задач и технологического уровня) становятся все более тонкими, что создает мощный эффект дивергенции доходов (Yamamoto 2008).

Предположим, что МЭ-рента — основная причина дивергенции доходов между передовыми инновационными центрами и остальными городами, в которые впоследствии распространяются инновации. Тогда последние смогут ликвидировать разрыв в развитии городской системы с Бостоном лишь в том случае, когда и если они будут готовы подняться на новую ступень качества и технологий и стать МЭ-городами. А Бостон сохранит отрыв, только если продолжит постоянно обновляться как инкубатор инноваций. В некоторых обстоятельствах инновационные центры будут получать не только МЭ-ренту; экономика может предоставлять им дополнительные ресурсы и наказывать менее инновационные регионы неблагоприятными условиями торговли, тесно связанными с распространением этих самых инноваций (инновации воплощаются в стандартизированных практиках и рутинизации, стоимость которых снижается, как в истории с легендарным iPhone, разработанным в Калифорнии и произведенным в Китае).

Но это не единственно возможный итог. Инновационный прорыв, изначально локализованный лишь в некоторых городах, может способствовать обновлению и других локальных экономик, как видно на примере Питтсбурга, Бостона, округа Ориндж в США или Тулузы во Франции, занявших инновационные позиции второго порядка. Инновационные центры могут появиться и в догоняющих экономиках; так, Тайвань и Южная Корея заняли новое место в международном разделении труда, повторяя путь Хьюстона и Далласа в США в послевоенный период. Не все развивающиеся экономики смогли стать такими же успешными, как Тайвань, и многие входящие в Солнечный пояс или отстающие города-регионы США не сумели стать центрами инноваций. Процесс пространственного экономического развития наполнен скорее подобной динамикой, чем плавными замещениями и средними реверсиями, вокруг которых построено большинство моделей НЭГ и ННЭГ<sup>6</sup>.

6 В подтверждение этих слов Фудзита и Тисс, а также Болдуин и Мартин выделяют географическую концентрацию высококвалифицированных работников, которые затем создают инновации, являющиеся источником динамики долгосрочного роста для экономики; и эту первичную инновационно ориентированную концентрацию дополняет эффект домашнего рынка (Fujita, Thisse 2002; Baldwin, Martin 2004). Обе группы авторов отмечают, что Кругман и его коллега Энтони Венейблс не смогли убедительно обосновать устойчивую дивергенцию дохода без модели обновления преимуществ высокодоходных регионов — что-то вроде эффекта «противотока» Мюрдаля (Krugman, Venables

А есть ли конвергенция внутри структуры самих регионов? Я не думаю, что уровни дохода в Сан-Франциско и Фениксе сравняются в ближайшее время. Тем не менее можно ожидать конвергенции среди американских городов со схожим типом структуры, например между Нью-Йорком и Бостоном или между Фениксом и Лас-Вегасом. Однако из вышесказанного следует, что даже среди одинаковых по своей структуре городов существуют определенные различия. Среди богатых, инновационных городов, в которых живут высококвалифицированные специалисты, нет идеальной конвергенции. Почему так происходит? Говоря экономическим языком, локализованная рента, скажем, в отрасли информационных технологий Сан-Франциско может быть больше, чем в финансовом секторе Нью-Йорка, или по крайней мере ее доля в местной экономике выше благодаря более высокой степени специализации.

Динамика конвергенции также нестабильна с течением времени. Есть периоды низкой инновационной активности, когда межрегиональная конвергенция сильнее. Хороший пример — США в 1970-е годы, когда произошел переход от послевоенной экономики массового производства к Новой экономике. Такие периоды приносят много тревог, поскольку в это время региональные уровни доходов могут выравниваться из-за того, что в экономике замедляется обновление высокотехнологического сектора. Это выражено в торможении описанного выше процесса перехода от МЭ-эффектов к Р-эффектам, мотором которого являются инновации<sup>7</sup>. Равенство между регионами не всегда хорошо, даже несмотря на то что дивергенция создает свои проблемы.

## ЦЕНЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

Почему временная инновационная рента заставляет нас посмотреть на городскую и региональную экономику не с точки зрения общего равновесия, но в связи с комбинацией средней реверсии или полезности, а также выравниванием заработной платы или цен в пространстве? Ответ на этот вопрос технический, и читатель, интересующийся вопросами общего характера, или неэкономист, возможно, захочет пропустить данный раздел.

В анализе общего равновесия основной проблемой является будущая неопределенность. Нет никакого всеобъемлющего механиз-

---

1995). В последнее время начали появляться динамические модели географического распределения высокой производительности труда, основанные на связанном со склонностью к экспорту эффекте селекции (Melitz 2003; Melitz, Ottaviano 2008; Baldwin, Martin, Ottaviano 2001). Однако для эффективного анализа нам в дополнение понадобятся динамические модели, описывающие географию инноваций — основного источника ренты, раскручивающей развитие.

7 Например, окончание периода послевоенного роста в США также замедлило процесс конвергенции, тогда как появление высоких технологий, а затем финансовый бум, похоже, ускоряют дивергенцию. Это соответствует фазе, когда в экономике доминировал процесс деагломерации, и переходу к фазе, когда значение агломерации вновь повышается, что можно также соотнести с разными стадиями технологической зрелости базовых видов деятельности, продвигающих экономику вперед.

ма, который позволил бы экономическим агентам точно знать, как переносить богатство из одного временного периода в другой идеальным образом (все обещания об идеальном функционировании механизма финансовых рынков оказались пустыми). Будущая неопределенность представляет особую проблему, если пространственное размещение богатства происходит в форме невозместимых издержек, общественных взаимоотношений или внешних эффектов. В этом случае часто невозможно, чтобы соотношение цен на факторы производства отражало их предельную норму замещения во времени и пространстве. Более того, в каждом равновесии есть не только ценовой эффект, но и эффект богатства/обладания, который лишает «локальное» равновесие уникальности. Возможности будущего равновесия меняются мгновенно, а в настоящем они непредсказуемы. Итог всех этих рассуждений в том, что ресурсы в экономике ни в какой-либо определенный момент, ни, вероятно, в долгосрочной перспективе не распределяются в соответствии с каноническим правилом нулевого излишка. Это означает, что есть рынки с избыточным спросом (Sonnenschein 1972; Sonnenschein 1973; Debreu 1974; Mantel 1974). Инновации, согласно представленной здесь точке зрения, являются встроенной силой, создающей всеобъемлющий избыточный спрос в экономике с сопутствующим воздействием на цены — некоторые из этих эффектов проявляются в пространстве.

Кроме того, будущими возможностями равновесия можно манипулировать, ведь обладатели богатств могут вызывать рост или падение цен на факторы производства через неоднородную норму замещения выпуска. Это, в свою очередь, означает, что экономические агенты, например владельцы факторов, не обязательно руководствуются исключительно конкуренцией в ценообразовании. Иначе говоря, всегда есть возможность манипулировать ценами. В любом случае соответствующие равновесия не совпадают с теми, которые можно было бы аналитически рассчитать на основе имеющихся параметров.

Если экономическая теория городов и регионов хочет выявить механизм приспособляемости к изменениям, обусловленным в первую очередь инновациями и переходом от МЭ-к Р-эффектам, ей в таком случае нужно разработать модели без чрезмерного ограничения функции избыточного спроса, где распределительные правила для таких ситуаций заданы корректно. Такие модели должны отвечать на вопрос, как локальная наделенность факторами производства изменяется со временем, то есть как изменяется экономико-географическая реальность. Это контекст среднесрочного «где» пространственной структуры цен, количества и доходов.

С вышеупомянутой проблемой распределения тесно связана необходимость использовать более реалистичный подход к рассмотрению вопроса, какими могут быть действия разнообразных экономических агентов в гетерогенном пространстве. До сих пор специалисты, понимающие, как сложно моделировать динамику, полагали, что нельзя вводить предвидящих агентов. Иначе те должны быть всезнающими, чтобы модель работала. Тогда исследователи начинали вводить условия, ограничивающие влияние будущих решений через исключение ожиданий (Desmet, Rossi-Hansberg 2010). Тисс, напротив, предполагает, что мы можем понять процесс образования и разрушения пространственного равновесия, отождествляя разумные правила отбора, включая эволюционный процесс и процесс познания,

с жизнедеятельностью разнообразных экономических агентов (Thisse 2010). Этот путь сделает экономическую теорию города и экономическую географию более реалистичными.

## ИНДИКАТОРЫ И МЕТОДЫ

Исследования изменения городов и регионов изобилуют выводами, основанными на статистике. Однако использование показателей во многом зависит от теории, поэтому результат связан с тем, ставятся ли правильные вопросы. Он также зависит от естественного стремления ученых, консультантов и правительств четко и уверенно формулировать свои выводы.

Представьте себе обычный доклад о росте городов. Он начинается с определения растущих и приходящих в упадок городов, а затем рассказывает о различиях между ними, чтобы объяснить причины такого неравномерного развития (DeVol, Bedroussian, Klowden 2011). В нашем примере для процветающих городов характерна определенная комбинация роста населения и валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в депрессивных городах наблюдается слабый рост или снижение численности населения, ВВП или доли в ВВП национальной экономики. Такой принцип изложения позволяет увидеть несколько исходных параметров. Если мы знаем из доклада, что растущие регионы дешевы и обладают теплым климатом, а в остальных — холодно и дорого (они отличаются набором благ, деловым климатом или чем-то еще), мы сделаем выводы о причинах роста и изменений. При этом растущие регионы могут принадлежать к двум разным группам: регионам с растущим подушевым ВВП и регионам, в которых он не растет. После добавления этих данных становится ясно, что существует еще и дополнительная структура производительности. Более того, в некоторых местах население может сокращаться, а ВВП на душу населения расти. Растущий ВВП на душу населения при росте численности населения означает, что в городе-регионе расположены предприятия, занимающиеся высокопроизводительными видами деятельности; о том же самом может свидетельствовать рост подушевого ВВП и при сокращении численности населения — или же о том, что население сокращается быстрее, чем занятость, а собственно производительность труда при этом не растет. Растущее население и слабый рост подушевого ВВП могут сочетаться со значительным абсолютным ростом ВВП или доли региона в ВВП страны.

Стоит отметить, что из внимательного изучения данных могут родиться разные истории — истории, соединяющие людей (домохозяйства и рабочую силу) и индустрию. Но давайте сделаем шаг вперед. Доля ВВП на душу населения может расти, когда региональная экономика становится более капиталоемкой и создает мало рабочих мест и когда внутренняя миграция не слишком сильно увеличивает знаменатель. Подушевой ВВП также может расти, когда экономика становится более трудоемкой, но только в тех отраслях, где трудовые издержки переходят в цену выпуска благодаря качеству продукции или инновационной ренте как функции редкости — так происходит в МЭ-экономиках. В первом случае доход на душу населения будет от-

носителем невысоким, а во втором — наоборот. Если доход на душу населения растет, это частично может быть связано с тем, что население сокращается быстрее, чем рабочая сила, при отсутствии сопутствующего притока работников, или это можно объяснить скачком на уровень выше среднего для экономики в иерархии инноваций, качества или производительности.

Нужно учесть много особенностей функционирования экономики, чтобы сделать возможным построение моделей изменения рабочих мест и людей, а также выявлять вероятные причинно-следственные связи, которые стоят за переменами. Даже эти сопоставления лишь начало тяжелой работы, необходимой, чтобы добраться до причин и динамики развития. Как уже отмечалось, функционирование городских и региональных систем на самом деле можно понять, только сравнивая их с неким эталоном или зная об их месте в рамках большой экономики. Обычно это делается через анализ конвергенции или дивергенции — проще говоря, анализ того, как города соотносятся по выбранному показателю с каким-либо реперным классом городов (например, всеми городами в контрольной стране). Эталонное тестирование любой подобной всеобъемлющей системы тем не менее может провести и аналитик — бета-методом (по тому, как быстро один регион меняется по сравнению с другим, или по индикатору темпов изменений) или нисходящим методом через сигма-показатель того, увеличивается или сокращается вариативность дескрипторов системы. Таким образом, население, ВВП, подушевой ВВП, подушевой доход и так далее — все это имеет бета- и сигма-измерения, проливающие дополнительный свет на причины и структуру изменений, но только во взаимосвязи друг с другом.

В регионах средняя реверсия по ценам и объемам — частичная, зависящая от времени и нелинейная, поскольку подвержена воздействию эффекта стеклянного потолка, как и дополнительных пространственно селективных «восходящих» (инновационных) шоков. Пространственная избирательность восходящих и нисходящих шоков связана как с общесистемной динамикой, например мобильностью факторов, так и с местными условиями — обучением на практике и издержками перенаселенности, с одной стороны, или нисходящей спиралью — с другой. Такое большое количество возможных комбинаций индикаторов развития городов существует потому, что возможные взаимодействия бесчисленны. В результате рост городов и регионов с точки зрения статистики потенциально имеет двенадцать измерений и четыре основные характеристики: население, выпуск (ВВП), ВВП на душу населения (производительность) и доходы. Эти характеристики, в свою очередь, могут быть представлены тремя способами — посредством уровней, темпов изменений и массы изменений.

С большим количеством измерений мы рискуем погрязнуть в конечной выборке; невозможно будет избежать сложной работы, предполагающей не только достижение внутренней согласованности с ограниченным набором данных, но и внешнюю валидизацию и непротиворечивость, если мы увеличим количество измерений, используемых для перекрестной проверки. Внешняя проверка требует, в свою очередь, информации о временной последовательности изменений в качестве теста на достоверность выявления трендов с учетом «переломных точек», а также с учетом их вероятно различ-

ных причин. Для городов и регионов, как и вообще в экономике развития в целом, у нас есть данные, описывающие масштабные (но тем не менее конечные) комбинации повторяющихся процессов (много людей принимают решение о переезде, компании реагируют на цены, факторы производства и так далее), и мы хорошо научились выявлять огромное количество их предельных воздействий друг на друга. Приверженцы НЭГ и некоторые историки утверждают, что можно выделить решающие события и переломные моменты в географии экономики — как я уже указывал, объясняя появление современного Солнечного пояса.

Агломерационные экономики стремятся развиваться циклично и нелинейно до тех пор, пока мощная сила нового, например технические изменения в продукции или транспорте, не подрывает это развитие. В нашей статистике нет категории «события и шоки». Только если мы обратим пристальное внимание на эти подрывные силы, мы сможем перестать складывать переломные точки в черный ящик «ненормальных шоков». Идеальный набор данных будет включать в себя информацию о появлении и развитии агломераций, а также о шоках, связанных с конкретным временем и местом, прорывных технологиях, резком изменении предпочтений и других «ключевых событиях», которые предполагают широкомасштабные и многовекторные процессы приспособления и реакции на эти силы (Davis, Weinstein 2002).

Нет набора данных, который бы отвечал этим требованиям. Но даже если бы он имелся, не существует эконометрики, которая могла бы обработать такое количество разнообразных конечных данных без серьезных усилий, обсуждений и терпимого отношения к беспорядку (Morck, Yeung 2011). Это необходимые навыки для отсеивания невозможных вариантов, которые помогут исследователю, анализирующему данные, пробраться через тернии к звездам. Эдвард Лимер долго и красноречиво призывал к реализму в использовании эконометрики, особенно при интерпретации результатов и их надежности (Leamer 2010; Leamer 1983). Ученый утверждает, что последовательность самых мощных техник — использования инструментальных переменных, непараметрических методов, состоятельных стандартных ошибок и рандомизированных экспериментов — в некотором смысле приводит к усугублению проблемы. Проблема эта проявляется в ходе применения вышеупомянутых техник к ограниченным и конечным данным в попытке подтвердить ключевую веру исследователя в то, что мир асимптотичен и ведет себя нормальным образом в соответствии с надежными законами. Уверен, что пространственное развитие экономики не работает таким образом. Я отстаиваю эту точку зрения, рассматривая в более широком контексте фундаментальные процессы и истории, которые факты, показатели и другие данные могут рассказать нам о развитии регионов и городов. Лимер и его коллеги призывали строить реалистичные схемы для объяснения изменений — для этого потребуется использовать теорию, модели и данные, но также необходимо осуществлять внешнюю валидизацию, вооружившись глубокими знаниями происходящих процессов, для которых строгие рамки баз данных могут оказаться слишком узкими. Особенно важно следить за тем, чтобы допущения относительно поведения людей были реалистичными (см., например: Abrams 1982; North 2005).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РАЗРУШЕНИЕ ЕСТЬ РАЗВИТИЕ

Парадигма развития — с акцентом на разрушение, — описанная здесь, имеет длинную родословную в истории экономической мысли от Йозефа Шумпетера до последних работ Дугласа Норта (North 2005; Aghion, Howitt 1997). Ясно, что любая рыночная экономика в действительности производит свои собственные «подрывы» — создавая инновации и агломерации, где много высокооплачиваемых специалистов, высокая цена на факторы производства, дорогая земля и высокие доходы, — и пытается вернуться к средним значениям — выталкивает компании, вынуждает людей мигрировать, стараясь переместить их из дорогостоящих мест на другие территории. Сочетание этих двух сил создает беспокойную реальность городов и регионов. Как мы увидели, выбор в пользу признания важности лишь одной стороны этого процесса — вопрос познания, для этого нет никаких «явных» оснований. Главный методологический вызов — связать эпистемологию, теорию, моделирование и данные так, чтобы появились убедительные версии историй об изменениях и развитии.

# БИБЛИОГРАФИЯ

- Abrams P. Historical Sociology. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
- Aghion P., Howitt P. Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.
- Davis D.R., Weinstein D.E. Bones, Bombs, and Break Points: The Geography of Economic Activity // American Economic Review. 2002. Vol. 92. № 5. P. 1269–1289.
- DeVol R., Bedroussian A., Klowden K. Best Performing Cities Santa Monica, CA: Milken Institute, 2011 [[www.milkeninstitute.org/publications/publications.taf?function=detail&ID=38801293&cat=resrep](http://www.milkeninstitute.org/publications/publications.taf?function=detail&ID=38801293&cat=resrep)].
- Drennan M.P., Lobo J., Strumsky D. Unit Root Tests of Sigma Income Convergence across US Metropolitan Areas // Journal of Economic Geography. 2004. № 4. P. 583–595.
- Hammond G.W., Thompson E.C. Determinants of Income Growth in Metropolitan and Nonmetropolitan Labor Markets // American Journal of Agricultural Economics. 2008. Vol. 90. № 3. P. 783–793.
- Helpman E. The Mystery of Economic Growth. Cambridge, MA: Belknap Press, 2004.
- Leamer E.E. Tantalus on the Road to Asymptopia // Journal of Economic Perspectives. 2010. Vol. 24. № 3. P. 31–46.
- Lundvall B.-Å., Johnson B. The Learning Economy // Journal of Industry Studies. 1994. № 1. P. 23–42.
- Maddison A. Phases of Capitalist Development. New York: Oxford University Press, 1982.
- Marshall A. Industry and Trade. London: Macmillan, 1919.
- Mokyr J. The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. New York: Oxford University Press, 1991.
- Morck R., Yeung B. Economics, History, and Causation / National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, 2011 (Working paper № 16678) [[www.nber.org/papers/w16678](http://www.nber.org/papers/w16678)].
- North D. Understanding the Process of Economic Change. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.
- Norton R.D., Rees J. The Product Cycle and the Spatial Decentralization of American Manufacturing // Regional Studies. 1979. Vol. 13. № 2. P. 141–151.
- Pred A.R., Hagerstrand T. Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: University of Chicago Press, 1967.
- Romer P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth // Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94. № 5. P. 1002–1037.
- Sala-i-Martin X. The World Distribution of Income: Falling Poverty and Convergence... period // Quarterly Journal of Economics. 2006. Vol. 121. P. 351–397.
- Sonn J.W., Storper M. The Increasing Importance of Geographical Proximity in Technological Innovation: An Analysis of U.S. Patent Citations, 1975–1997 // Environment and Planning A. 2008. Vol. 40. № 5. P. 1020–1039.
- Sonnenschein H. Market Excess Demand Functions // Econometrica. 1972. Vol. 40. P. 549–563.
- Thisse J.-F. Toward a Unified Theory of Economic Geography and Urban Economics // Journal of Regional Science. 2010. Vol. 50. № 1. P. 281–296.
- Yamamoto D. Scales of Regional Income Inequalities in the USA, 1955–2003 // Journal of Economic Geography. 2008. Vol. 8. № 1. P. 79–103.



# от медиа к геомедиа

## ВВЕДЕНИЕ

Меньше чем за два столетия города, бывшие когда-то редким и исключительным местом действия, превратились в основную сцену, на которой сегодня разворачивается общественная жизнь по всему свету. Еще совсем недавно, в 1900 году, Великобритания была единственной страной, где преобладало городское население. Но уже в 2007 году было подсчитано, что большинство населения планеты живет в городах и, по прогнозам, доля городского населения будет только увеличиваться (United Nations 2014: 7).

За кажущейся размытостью этого перехода скрываются множественные трансформации. И дело не только в широкомасштабной урбанизации, но и в изменении общей динамики городской жизни: значительном повышении ее культурного разнообразия, появлении новых паттернов региональной и транснациональной мобильности и растущем спросе на развитие более устойчивых способов жизни в городе. Если современный город — это социальный эксперимент, который еще неизвестно чем закончится, то проводится он без всякой страховки.

Именно распространение в городском пространстве сетевых цифровых средств коммуникации, как я буду доказывать, является одной из основных особенностей, отличающих городскую жизнь XXI века от всего предыдущего опыта проживания в городах. Новые медиатехнологии, от смартфонов с функцией учета геолокации до светодиодных экранов в центральных точках города, способствуют новой спатIALIZации средств массовой коммуникации, становящихся неотъемлемой частью современного города. Именно это я и стремлюсь ухватить, говоря о трансформации медиа в геомедиа. И че-

рез эту призму я хочу увидеть будущее городского общественного пространства.

Геомедиа — это концепт, который кристаллизуется на пересечении четырех взаимосвязанных траекторий, а именно: конвергенции, повсеместности, учета геолокации (location-awareness) и обратной связи в режиме реального времени.

Рассмотрим вкратце каждую из них, начиная с повсеместности. На протяжении почти всего XX века доступность средств массовой коммуникации обуславливалась парадигмой, которую, во всяком случае ретроспективно, можно описать в терминах дефицита и стационарности. Другими словами, для того чтобы что-то посмотреть, что-то услышать, с кем-то связаться, нужно было попасть в определенное место.

Звонок по телефону соединял между собой два телефонных аппарата, каждый из которых был привязан проводом к конкретному месту. Чтобы увидеть фильм, вы отправлялись в специальный «смотровой зал» — кинотеатр. Телевизор обычно смотрели дома в гостиной. Когда в начале 1980-х начали появляться первые персональные компьютеры, все происходило по похожей схеме: их ставили на рабочий стол дома или в офисе. И хотя эти разные медийные платформы были самым тесным образом связаны с глубокой трансформацией пространственно-временного опыта, характерного для Нового времени (McQuire 1998), вплоть до 1990-х годов медиа ассоциировались с довольно ограниченным набором точек в городе. Можно сказать, что, будучи частью культуры общества, средства массовой коммуникации, за редким исключением (газеты, афиши, транзисторные радиоприемники), как правило, не размещались внутри общественных пространств.

Сегодня ситуация резко поменялась. Мобильные и встроенные средства коммуникации, подключенные к расширенным цифровым сетям, превращают город в медиaprостранство, где доступ к контенту и связь могут осуществляться практически «в любое время и в любом месте»<sup>1</sup>. О такой ситуации люди мечтали уже давно, и хотя мечта эта осуществилась еще не полностью (есть много белых пятен и мертвых зон, где сети функционируют плохо или совсем не работают), благодаря своей вездесущности средства коммуникации становятся сегодня все более важной частью повседневной городской жизни. Стационарные медиаплатформы никуда не делись, но сегодня они являются узлами, связанными с более экстенсивными медиапотокими. Можно продолжать смотреть телевизор в гостиной и относиться к этому как к способу семейного времяпрепровождения, доставшемуся нам в наследство от сказочных 1950-х. А можно получать тот же контент в режиме потокового вещания и просматривать его на мобильном телефоне в автобусе или на ноутбуке в парке, подключившись к беспроводной сети Wi-Fi, или же на большом стационарном видеозэкране, установленном в общественном пространстве в центре города.

Главное, на что я хотел бы обратить внимание в этом контексте, — это то, что эта вездесущность медиа не просто позволяет занимать-

<sup>1</sup> Этот исторический сдвиг называли по-разному: Марк Вайзер обозначил это явление термином «юбикомп» (ubicompr; [Weiser 1991]), применительно к городу использовался эпитет «чувствующий» (Crang, Graham 2007; Shepard 2011), термин «городская информатика» (Foth et al. 2011) и остроумный неологизм Адама Гринфилда everywhere (Greenfield 2006). Повсеместное распространение средств коммуникации было неотрывно от роста взаимозависимости медиа и архитектуры. Эту взаимозависимость я ранее назвал «медийно-архитектурным» комплексом или «медийным городом» (McQuire 2008).

ся тем же самым (например, смотреть телевизор) в новом месте, но и ведет к глубокой трансформации социальных практик. В 1950-х годах в ответ на осознание того, что телевидение вторгается в общественную и культурную жизнь, обычно звучал призыв: не смотрите. Но стратегия воздержания себя не оправдала, поскольку упускала из виду тот факт, что телевидение участвует в перенастройке более общей логики общественно-политических отношений — от публичной сферы и политической жизни до гиперкоординации промышленного производства в соответствии с массовым маркетингом, из телевизора проникающим прямо в дом к потребителю. Такое глубокое и широкомасштабное воздействие трудно просто взять и отключить.

Подобным образом и сегодня повсеместность цифровых средств коммуникации трансформирует социальное пространство города, и это происходит настолько замысловатым образом, что выходит далеко за пределы выбора, доступного отдельным пользователям. Если раньше коммуникация всегда была ситуативной (*situational*), а новые медиатехнологии позволяют менять пространственно-временные параметры любой ситуации, то сегодня вездесущность цифровых средств коммуникации распространяет их трансформирующую способность на широкие сферы общественной жизни. В результате формирование современных процессов социального взаимодействия уже не так зависит от традиционных способов образования городских границ, таких как, например, физическая инфраструктура искусственно созданной среды обитания. Социальные контакты сегодня все чаще происходят в соответствии с новыми паттернами реляционного обмена, признаком которых служат распределенные, итеративные коммуникационные практики, имеющие зачастую глобальный охват.

Другой важной вехой в переходе к геомедиа стало появление у медиаустройств функции геолокации, которая не только повысила их функциональность, но и начала участвовать в формировании контента, доступ к которому они получают и который сами генерируют. Как и повсеместность, это тоже сравнительно новое явление. Хотя первые геоинформационные системы (ГИС) появились еще в конце 1960-х, волна экспериментов с новыми устройствами, службами, приложениями и практиками началась только после того, как в мае 2000 года Билл Клинтон своей директивой санкционировал повышение доступности данных Глобальной системы позиционирования для гражданского использования<sup>2</sup>. Вскоре после этого, когда в 2007 году вышел первый iPhone, шквал коммерческих сервисов перекрыл успехи ху-дожников, поначалу экспериментировавших с локативными медиа.

Современные устройства с функцией отслеживания местоположения — смартфоны или планшеты — оснащаются множеством разных систем, включая приемник и передатчик геокодированных данных, программное обеспечение ГИС и функции GPS-трекера. Такой набор

---

2 Первые ГИС, соединявшие в себе картографию, статистику и технологии управления базами данных, были разработаны в начале 1960-х годов в Канаде. Система глобального позиционирования (GPS), технология сбора и обработки спутниковых данных, была разработана американскими военными и введена в действие в 1973 году. В 1980-х годах система постепенно становилась более доступной для гражданского использования, но коренной сдвиг произошел 1 мая 2000 года, когда президент США Билл Клинтон отменил режим «избирательной доступности», после чего точность данных GPS для гражданских лиц была увеличена — погрешность теперь составляла не 300 метров, как прежде, а 20 метров.

функций позволяет устройствам отправлять запросы к реляционным базам данных с учетом геопозиции, чтобы те в свою очередь снабжали их информацией, наиболее адекватной указанному местоположению. Такое позиционирование информации породило широкий спектр новых социальных практик и видов коммерческой логистики, которые сегодня стали обычным явлением и прочно закрепились в городском пространстве. Если обычные передвижения миллионов городских жителей оставляют различные цифровые следы, то возможность использования данных об их местоположении начинает играть заметную роль в городской жизни. Как отмечает Маккалоу: «С распространением систем позиционирования, превращающих каждого, кто носит такое устройство, в ходячий курсор (live cursor), карта города сама приобретает свойства живой поверхности». (McCullough 2004: 88). Когда в 2010 году компания Google впервые интегрировала в свою поисковую систему функцию определения местоположения, сервисы, использующие эту функцию, были признаны не только наиболее динамичным и стремительно растущим сектором цифровых медиа, но и ключом к расширению бизнес-стратегий<sup>3</sup>. Так, оснащение вездесущих медиа функцией геолокации способствует расширению логики городской жизни, в которой свободная мобильность индивидуальных пользователей практически совпадает с выводами компьютерного анализа данных массового отслеживания.

Третья важная для возникновения геомедиа траектория связана с ориентацией современных цифровых сетей на реальное время. Эту ориентацию важно отличать от возможности, которой электронные медиа пользуются уже около ста лет. Смысл радиопередачи, собственно, и заключался в трансляции широкой аудитории события, происходящего в это время в другом месте. С появлением телевидения возможность прямого вещания вышла на более высокий уровень и привела к возникновению такого социально значимого явления, как медиасобытие (Dayan, Katz 1992). Отличие современной ситуации в том, что распределенная архитектура цифровых сетей позволяет осуществлять обратную связь многие-ко-многим в режиме реального времени, заставляя аудиторию переживать новые ощущения, связанные с опытом социальной одновременности. Как я собираюсь показать, геомедиа меняют валентность транслируемого медиасобытия, создавая потенциал для новых форм рекурсивной коммуникации и координации между различными акторами в процессе развертывания событий.

По мнению Поля Вирильо, переход к медиа реального времени был не просто техническим событием, этот переход подразумевает глубокое переустройство общественных отношений во времени и пространстве (Virilio 1997)<sup>4</sup>. Я же, в свою очередь, понимаю переход

---

3 О компании Google см.: Schepke 2010. После этого в разных отраслевых отчетах постоянно подчеркивалась важность для рынка цифровых медиа мобильных сервисов с поддержкой геолокации.

И хотя цифры, которые приводятся в этих отчетах, разнятся в зависимости от применяемых для их подготовки методов, отчет компании Jupiter показателен в том смысле, что в нем прогнозируется трехкратное увеличение общего объема рынка сервисов, использующих данные о местоположении, в течение пяти лет: с 12,2 млрд долларов в 2014 году до 43,3 млрд долларов в 2019 году (Sorrel 2014). Почти три четверти этого прироста приходится на рост мобильной рекламы.

4 Единственное, в чем я не согласен с Вирильо, так это в том, что он склонен концептуализировать переход к коммуникации в реальном времени в терминах оппозиции между старым «конкретным присутствием» и «дискретным присутствием» где-то там, в другом

к геомедиа в том смысле, что изменения, которые происходят сегодня, подрывают примат репрезентационной парадигмы, на которой исторически держалась дисциплина по изучению средств массовой информации и коммуникации — media studies. Согласно этой парадигме, восходящей еще к Платону, сначала всегда происходит событие, а его передача (медиация) с необходимостью предполагает ре-презентацию, пере-представление посредством той или иной формы символизации или означения<sup>5</sup>. Согласно этой платоновской логике, или ритму, событие всегда первично, а медиация неизбежно вторична и всегда запоздала. По-видимому, эта модель начала терять свою объяснительную силу уже тогда, когда прямое радио-, а впоследствии и телевидение начало принимать активное участие в оркестровке синхронных общественных переживаний в масштабе целых государств. Но сегодня, когда обратная связь только усиливается и все глубже проникает в повседневную жизнь, вопрос прояснения отношений между прямым эфиром (live media) и событием начинает звучать с новой силой.

Четвертым условием возникновения геомедиа является конвергенция. Конвергенцию часто определяют чисто технически, то есть как объединение ранее отдельных вещательных, вычислительных и телекоммуникационных систем в контексте цифровых технологий. Однако логика конвергенции распространяется и на более обширный процесс переделывания (remaking), влияя на деловую, институциональную и нормативно-правовую обстановку в той же степени, как и на общественную жизнь, политическую деятельность и культурные практики. Поскольку конвергенция именуется этот сложный процесс трансформации старых и разработки новых «медиа», термином «геомедиа» я обозначаю разнородный набор технологий — устройств, платформ, экранов, операционных систем, программ и сетей, — которые составляют современный медийный ландшафт. Если конвергенция стирает различия старых инструментов опосредования (mediums), таких как фотография или телевидение, от компьютеров с телекоммуникационными системами, то это происходит не только потому, что старые инструменты постепенно компьютеризируются и объединяются в сети, но и потому, что так называемые информационно-коммуникационные технологии все больше подвергаются медиатизации. В этом контексте многие различия, исторически связанные с такими понятиями, как фотоаппарат, телефон, компьютер и телевизор, уходят в небытие. Так что выбор названия для этого явления стратегически обоснован. Понятие «геомедиа» помогает вывести на передний план все усложняющиеся отношения опосредующего к непосредственности в современных практиках социального взаимодействия.

---

месте», которое всегда рассматривается как производное и второстепенное (Virilio 1997: 10–11). Как я покажу ниже, повсеместное распространение цифровых сетей высвечивает давние противоречия, которые несет в себе основанное на метафизике присутствия мышление отношений между непосредственным и опосредованным опытом. Более детальную критику гуманистической метафизики Вирильо см.: McQuire 2011b.

<sup>5</sup> Дerrиде пишет, что платонизм, то есть вся история западной философии, так понимает мимезис: «Сначала есть то, что есть, „реальность“, сама вещь из плоти и крови, как говорят феноменологи, а уж затем — подражающее, то есть живопись, портрет, зографема, надпись или перепись самой вещи. Различимость (по крайней мере, по номеру) между подражающим и подражаемым — вот общий порядок. И само собой разумеется, что согласно самой „логике“, согласно глубинной синонимии, подражаемое является более реальным, более существенным, более истинным и т.д., нежели подражающее» (Derrida 1981: 191).

Поэтому термин «геомедиа» не должен отсылать к появлению очередного устройства какого-то особого типа (как это часто происходит в исследованиях мобильных медиа). Не следует связывать его и с наличием какой-то определенной функции (например, функции геолокации, как в исследованиях локативных медиа). Моя задача состоит скорее в концептуализации нового состояния (condition), в которое вступают медиа в XXI веке. И это состояние, возникающее в результате слияния траекторий, которые я описал в терминах повсеместности, позиционирования, реального времени и конвергенции, крайне противоречиво.

С одной стороны, средства массовой коммуникации (медиа) сегодня связывают между собой самые разные точки земного шара и позволяют передавать сигнал с гораздо большей легкостью, размахом и скоростью, чем когда-либо раньше. Ежедневные контакты, даже между разными континентами, теперь не требуют особых усилий и затрат. В этом смысле цифровые медиа — это удивительно мощные машины пространства-времени. Они позволяют расширять границы человеческого восприятия, находить новые способы организации общества и пополнять культурные традиции. Гарольд Иннис и Маршалл Маклюэн были первыми, кто обратил на это внимание в 1950–1960-х годах. Способность медиа покрывать расстояние и сжимать время будоражила воображение сторонников ниспровержения материи, в частности тех, кто ассоциировал себя с популярной в 1990-е годы идеей киберпространства (см., например, Dyson et al. 1994). Но все прежние исследования медиа носили слишком односторонний характер, и сегодня это особенно заметно. Сегодня цифровые медиа становятся все более персонализированными и интегрируемыми. Они широко используются для оживления ситуации в городе и соединения с конкретными местами. Иными словами, одновременно с освобождением от привязанности к месту цифровые медиа также во многом определяют современные способы организации пространства, становятся важным инструментом так называемого плейсмейкинга. Именно это парадоксальное сочетание соединения и разъединения — помещения и перемещения, сочленения или стыковки локального и глобального, опосредующего и непосредственного — я и хочу ухватить, объединяя их в общую категорию «геомедиа». Геомедиа создают новый контекст для производства общественного пространства и влияют на то, как мы понимаем и осуществляем наше зарождающееся право на город, как мы выстраиваем наши отношения в социуме и как нами переживаются отношения близости и дали, присутствия и отсутствия.

## АМБИВАЛЕНТНОСТЬ «ЦИФРЫ»

Трансформация медиа в геомедиа происходит на фоне бесконечных споров о медиа, городе и социальной жизни. Изменение места, которое медиатехнологии занимают в городе, говорит о том, что изменяются и наши взаимоотношения как с медиа, так и с городским пространством. Очень разные и часто противоречивые тенденции разворачиваются одновременно, и это лишний раз указывает не толь-

ко на масштаб этой трансформации, но и на неопределенность ее исхода.

Поразительно в нынешней ситуации то, насколько нетвердые и полярные результаты дает анализ цифрового будущего. С одной стороны, возникающие в интернете децентрализованные коммуникационные платформы и возможности пирингового обмена и сетевого сотрудничества находят самое разное применение в жизни современного города. Распределенные мощности цифровых сетей позволяют еще проще получать и использовать информацию из множества источников, придавая практический смысл идеалу «общественного пространства прямого участия», когда в создании и изменении городской среды участвуют сами жители города. Но вместе с генеративным потенциалом новых практик, основанных на равном участии, стремительно расширяются и возможности сбора, архивации, обобщения и анализа целого спектра новых данных. К таким полезным вещам, как кабельное телевидение и кредитные карты, теперь добавились фильтрация результатов поиска в интернете по местоположению и публикация в социальных сетях постов с географической привязкой, сотовая телефонная связь, сенсорные сети и транспортные смарт-карты. И все вместе это создало городскую коммуникационную инфраструктуру, способную выстраивать петли исключительно быстрой и точной обратной связи между мобильным субъектом и его рутинными занятиями в городе. В ситуации, когда чуть ли не каждый твой шаг оставляет цифровой след, а транзакционные издержки снизились до исторического минимума, та анонимность, которая способствовала динамичному развитию публичной культуры в современном городе, рискует исчезнуть. По мере того как хранение, обработка и получение немых прежде объемов данных становится все дешевле и требует все меньше времени, меняется вся логика использования данных в управлении городской жизнью. Стратегии, основанные на ретроспекции, переключаются на прогнозирование.

Для того чтобы могло возникнуть то, что Саския Сассен называет «урбанизмом с открытым кодом доступа» (Sassen 2011a; Sassen 2011b), городское пространство должно быть насыщено данными. Для урбанизма с открытым кодом характерна более горизонтальная, множественная и чувствительная обратная связь между жителями и городом. Однако Сассен предупреждает, что концепция умного города всегда может обернуться технократической фантазией о тотально управляемом пространстве (Sassen 2011a). В результате подлинная инновационность урбанизма с открытым кодом подменяется тем, что Жиль Делёз называл «обществом контроля» (Deleuze 1992), в котором на смену старым пространственным стратегиям сегрегации и физической изоляции, характерным для дисциплинарных режимов Фуко, приходит вездесущая цифровая модуляция. Ярко выраженная амбивалентность цифрового века, в котором мы живем, возникает из необходимости преодолеть напряжение между потенциальной возможностью новых форм вовлеченности и самоорганизации граждан и свойственной подобным проектам тенденцией к маргинализации под влиянием новых форм технократического контроля, которые они зачастую сами и производят. Поспешу добавить, что эту амбивалентность невозможно устранить усилием воли: мы не можем просто выбрать какое-то одно направление, которое было бы предпочтительнее всех остальных. Амбивалентность «цифры» не объясняется просто

тем, что за риторикой свободы часто кроется новая логика контроля (Chun 2006); она больше обусловлена мерой зависимости того, что Стивен Грэм удачно назвал «контргеографиями», от тех же самых цифровых инструментов, от которых зависят современные стратегии контроля:

Новые публичные сферы, на которых держатся «контргеографии», должны искать новые формы сотрудничества и налаживать новые связи через расстояния и различия. Они должны способствовать материализации новых общностей и созданию новых контргеографических пространств, используя буквально те же технологии контроля, которыми пользуются военные и государства, проводящие политику национальной безопасности, для создания повсеместных границ (Graham 2010: 350).

В условиях этой амбивалентности совсем не просто ответить на вопрос, в каком городе нам хотелось бы жить в будущем — медийном, умном или чувствующем. Как нам изобрести новые алгоритмы, новые практики и платформы, охватывающие выгоды основанной на работе с данными инфраструктуры и при этом оставляющие место для развития распределенных коммуникативных мощностей, которые могли бы ускорить наступление новой эпохи городской демократизации? И если сегодня попытки ответить на этот вопрос в основном сводятся к спорам о роли крупномасштабных медиаплатформ и решений умного города, не стоит также забывать о том, что ответ связан с нашей способностью коллективно воображать и вводить новые сочленения медиасредств и общественного пространства.

## ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И «ОБЩЕЕ» «ЦИФРЫ»

Когда я только начинал писать в 2011 году, в мире разные группы граждан занимались захватом общественных пространств, от площади Тахрир в Каире до Томпкинс-сквер в Нью-Йорке. Эти события, часто объединенные под заголовками «арабская весна» или «Захвати Уолл-стрит», не следует поспешно объединять в единый фронт. Надо учитывать, насколько разной была политическая обстановка, в которой они происходили, и что именно было тогда поставлено на карту. И все же эти события подсказали две важные для моего исследования вещи. Во-первых, я понял, что апроприация общественного пространства и сегодня остается важным способом политического действия. А во-вторых, что современные способы захвата города существенно отличаются от прежних. Что же, собственно, изменилось?

Бернар Стиглер считает, что неперенным «условием любого общественного пространства» является наличие *koine*, чего-то общего (Stiegler 2011: 151). Но такая общность никогда не была простым отношением. По мнению Дэвида Харви, приравнивание общественного

пространства к общему достоянию проблематично. Общественное пространство всегда было спорной территорией (Harvey 2012: 72–73). Оно зависит от государственной власти и замешано в неравномерном процессе капиталистической урбанизации, но, кроме того, оно возникает из классовых практик освоения среды обитания. Харви пишет:

В той мере, в какой города становятся ареной отчаянной классовой борьбы, городским властям приходится обеспечивать урбанизированный рабочий класс общественными благами за свой счет — предоставлять доступное муниципальное жилье, медицинское обслуживание и образование, мостить улицы, снабжать водопроводной водой и следить за санитарным состоянием города. Хотя эти общественные пространства и блага все-таки становились общим достоянием и приносили немалую пользу жителям города, для того чтобы это случилось, народ должен был совершить политическое действие (Ibid.).

Харви подчеркивает тот факт, что многие качества, ассоциирующиеся у нас с общественным пространством, не даются нам откуда-то сверху, не сохраняются раз и навсегда, а являются тем, за что приходится постоянно бороться. Если немного переиначить замечание Стиглера, то можно сказать, что условия, в которых сегодня пребывает общественное пространство, свидетельствуют о том, как мы относимся к тому, что считаем общим. Почти полвека назад о чем-то подобном говорил Анри Лефевр: «Давайте остановимся на том, что демократичность режима определяется его отношением к городу, городским „вольностям“ и реалиям городской жизни, а значит, и к сегрегации» (Lefebvre 1996: 141).

За последние двадцать лет борьба вокруг городского пространства и городских вольностей только усилилась. Как отмечает Пэск:

С середины 1990-х годов поиск по ключевым словам в архивах газет демонстрирует экспоненциальный рост числа статей со словосочетанием «общественное пространство». Специфика статей может отличаться, но их темы удивительно схожи: группы простых граждан, а иногда даже сами органы местного самоуправления борются за создание общественного пространства там, где его пока еще нет, за его восстановление там, где оно было утрачено, и за его благоустройство там, где оно находится в неудовлетворительном или незавершенном состоянии (цит. по: Ноу 2010: 227).

Повышенное внимание к общественному пространству, очевидно, связано с огромными нагрузками, которые на него возлагаются в условиях неолиберального городского развития, когда прежние формы «общего» приватизируются и становятся объектом рыночных отношений. Пэск далее говорит: «„Общественное пространство“ сегодня становится полноправным участником и стратегически важным фактором развития гражданского активизма и общественных движений». (цит. по: Ibid.: 231). Этот взгляд сегодня разделяют многие серьезные аналитики, включая Зигмунта Баумана и Саскию Сассен. Бауман высказал мнение, что «общественные места — это те самые точки, где

в настоящий момент решается будущее городской жизни» (Bauman 2005: 77). А Саския Сассен утверждает, что «вопрос общественного пространства занимает центральное место, когда речь идет о том, чтобы у тех, кто не имеет власти, появились возможности высказываться и действовать» (Sassen 2011с: 579).

Но стратегическое значение общественного пространства в современных вопросах власти и городской жизни — это не просто возвращение к старой проблематике общественного пространства. Повышенное внимание к общественному пространству — это еще и результат исторических изменений в отношении того, что мы сегодня понимаем под «общим». В своей книге «Республика» Хардт и Негри утверждали, что производство уже не укоренено в том, что когда-то считалось общим, то есть в «природе» (естественное общее), но все больше зависит от «искусственного общего» языков, образов, знаний, аффектов, привычек, кодов и практик (Hardt, Negri 2009). В результате теперешней основой того, что они называют биополитической производственной деятельностью, является не «природа», а город:

С переходом к гегемонии биополитического производства пространство экономического производства и пространство города постепенно смешиваются. Нет больше фабричной стены, отделяющей одно от другого, и «внешние факторы» уже не являются внешними по отношению к производственной площадке, на которой создается их стоимость. Рабочие занимаются производством на всей территории мегаполиса, на каждом углу и за каждой дверью. Сама жизнь города, по сути, превращается в производство общего (Ibid.: 251).

Это не значит, что старая «природа» перестает существовать или каким-то образом теряет значение. Напротив, то, что Хардт и Негри называют «биополитическим порогом», указывает на исторические сдвиги в отношении между знанием и экономикой, которые по-разному описывались в терминах постиндустриального общества, информационного общества, общества знания, информационного капитализма и коммуникативного капитализма. Когда информационные товары начинают превалировать над другими формами производства, особую важность в осуществлении экономической деятельности приобретает контроль над медиаплатформами, сетевыми протоколами и интеллектуальной собственностью (авторские права, торговые марки, лицензирование). В то же самое время и в рамках того же процесса возникают новые формы возделывания и пожинания плодов «искусственного общего» языков, образов, аффектов, привычек и коммуникационных практик. Коммерческая логика геомедиа, пронизывающая сегодня общественное пространство города, нацелена как раз таки на ту повседневную социальную жизнь, которая поддерживает «искусственное общее». Но кроме этого, геомедиа также открывают новые возможности для преобразования городской сферы как социального пространства.

Чтобы понять, как мы ориентируемся в городе и взаимодействуем с другими людьми, все более важно ответить на вопрос, какие модели годятся для концептуализации сетевого общественного пространства как цифровых платформ? Какие силовые линии существуют и какие агенты действуют в этом пространстве? Эти противоречивые тен-

денции — в которых общественное пространство, с одной стороны, играет ключевую роль в выработке общего, но в то же время является основной площадкой, где общее вписывается в новую рыночную динамику и стратегии присвоения прибавочной стоимости — и образуют пестрое поле этого исследования.

## ПЕРЕУСТРАИВАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Рассуждая о размерах территории античного города-государства, Аристотель говорит, что чрезмерное расширение его границ делает управление таким государством проблематичным: «Действительно, кто станет военачальником такого до чрезвычайных размеров возросшего множества, кто будет глашатаем, если он не обладает голосом Стентора?» (Aristotle 1984: 2105). Применительно к нашему разговору эти слова следовало бы понимать скорее не как точную передачу сути классической политики, а как свидетельство пропасти, лежащей между ее основными предпосылками и настоящим временем. Дело не только в экспоненциальном росте масштабов города, но и в новых возможностях, позволяющих транслировать и архивировать «голос». В подходящих обстоятельствах сегодня практически каждый может взять на себя роль аристотелевского Стентора. Это не значит, что все обладают равными возможностями говорить и быть услышанными, но надо признать, что политика под влиянием медиа подверглась кардинальному переопределению.

Необходимость ограничить пределы города-государства Аристотель объясняет еще и тем, что «иноземцам и метекам легко присваивать себе права гражданства, так как нетрудно проделать это незаметно именно вследствие избытка населения». И далее: «Таким образом, ясно, что наилучшим пределом для государства является следующий: возможно большее количество населения в целях самодовлеющего его существования, притом легко обозримое» (Ibid.). Для Аристотеля политическая власть была прочно связана с тезисом, что полис должен представлять собой однородное культурное пространство, «легко обозримое» правительственным оком. Если этот идеал всегда представлялся чем-то несбыточным, то сегодня, когда двести лет массовой миграции создали условия для возникновения гораздо более дифференцированных и изменчивых моделей городского расселения, он становится мерилom, позволяющим оценить масштаб социальных изменений.

Несмотря на разночтения в понимании политики и политики, в размышлениях Аристотеля об управлении государством поднимаются определенные проблемы, которые узнаваемы и сегодня. Государство по-прежнему стремится регулировать порядок принятия в гражданство, а его стремление «обозревать» свое население, кажется, только усиливается вместе с беспрецедентным ростом городов и усложнением городской жизни. Однако в эпоху мегагорода за «легкую обозримость» отвечает уже не человеческий глаз, а новые продукты синтеза технологий, такие как «приборные панели» умных городов, подклю-

ченые к различным механизмам сбора данных (камерам наблюдения, сенсорным сетям, дронам, смарт-документам и т.д.) и отображающие поступающую информацию в режиме реального времени. Градостроительные методы (вспомним знаменитую книгу «Архитектура... или революция», которой в 1923 году Ле Корбюзье завершил свои тезисы «К архитектуре» [Le Corbusier 1946: 256]) перенастраивают политику в пользу цифрового управления.

Не менее важно и то, что оперирование этими технологиями и методами анализа больше не является прерогативой государства, но все чаще оказывается в руках частных корпораций (которые часто состоят в партнерских отношениях с теми или иными ведомствами государства — от военных и здравоохранения до местного самоуправления). Все эти обстоятельства подталкивают любое обсуждение будущего городского общественного пространства к спорам вокруг геомедиа, умных городов и протоколов работы с данными.

Мне хотелось изучить новые условия, в которых сегодня оказалось городское общественное пространство, в момент, когда оно, как мне кажется, может все больше выступать в роли контактной зоны, экспериментальной лаборатории для изобретения и переизобретения протоколов взаимодействия с другими. Я подробно рассмотрел здесь связь между геомедиа и общественным пространством вовсе не потому, что считаю цифровые технологии чем-то вроде единственной всеобъясняющей причины, а потому, что переход к цифровым технологиям тесно связан с трансформацией того, как обживает город, как складываются социальные отношения и как осуществляется власть. В заключение я хотел бы соотнести эти аспекты с изменившимся структурным положением технологии в современной социальной жизни. Поместив возникновение геомедиа в исторический контекст, мы сможем лучше понять, что стоит на кону в текущих событиях. Так мы увидим, до какой степени грандиозное пари — игра с нашим коллективным будущим — обусловлено тем, что я ранее назвал «амбивалентностью цифрового».

Давно замечено, что у капитализма особые отношения с техникой. И дело не только в том, что зависимость производства от новых машин в конце концов выливается в систему промышленного производства. При капитализме происходит поступательная интеграция старых процессов технического изобретения в организованную систему инноваций. Растущее господство «технической рациональности», о которой Герберт Маркузе писал еще в 1941 году (Marcuse 1998), основано на новой темпоральности, в которой инновации больше не являются следствием изобретения, а стараются заранее его запрограммировать. Бернар Стиглер пишет:

Характерное для современной техники сокращение временной задержки трансфера технологий <...> буквально упраздняет разницу между научным открытием и техническим изобретением. Направления научных исследований подчиняются конечной производственной цели. На самом глобальном уровне предожидание, по сути, оказывается продиктовано расчетом капиталовложений — коллективным принятием решений, темпорализацией, — иными словами, будущность подчиняется технико-экономическим императивам, касающимся этих расчетов (Stiegler 1998: 42).

С возникновением этой технической рациональности, или технонауки, технический прогресс не становится автономным, как об этом часто говорят в популярных СМИ, рассказывая о новых продуктах. Однако технология действительно начинает играть ведущую роль, что создает растущую нестабильность внутри других различных систем, с которыми она сопряжена (социально-культурной, экономической, биологической). Стиглер отталкивается от идеи Жильбера Симондона о том, что создание системы «технических объектов промышленного производства» начинает постепенно изменять внутренний мир человеческих желаний: «Желания формируются вокруг технического объекта, который таким образом получает власть над цивилизацией»<sup>6</sup>. Для Стиглера из этого следует, что «экологические проблемы, характерные для нашего века, обретают смысл, только если рассматривать их с такой точки зрения: возникает новая среда, технофизическая и технокультурная среда, законов равновесия которой мы больше не знаем» (Ibid.: 60). В этом историческом контексте «все более принципиальное значение» приобретает вопрос об отношении технической системы к другим системам: «На кону организация будущего, организация времени» (Ibid.: 41).

Хотя «цифра» не является инициатором новой технической среды, с развитием цифровых платформ и сетей она существенно расширилась, уплотнилась и вместе с тем стала гораздо менее стабильной, в особенности вследствие активного проникновения технических объектов в повседневную жизнь. По мере того как цифровые сети, объединяющие в себе медийные, коммуникационные, информационные и вычислительные технологии, становятся неотъемлемой частью повседневности, все новые и прежде не охваченные области социальной жизни обращаются в «ресурсы» — информационный эквивалент того, что Хайдеггер называл «поставом» природных ресурсов (Heidegger 1977). Когда таким поставом рискует стать любой элемент человеческой жизни, социальные отношения и формы власти начинают мутировать. Что касается социальных отношений, они постепенно теряют опору в географической привязанности и пространственной близости и все чаще обуславливаются тем, что Скотт Лэш называет логикой «дистанционности» (at-a-distance). Все виды социального взаимодействия начинают зависеть от потребности сочетать экстенсивное передвижение и постоянное опосредование, что ведет к разукореняющему изъятию практик из пространственного контекста и акселерации форм обмена. Лэш утверждает, что в результате социальные отношения больше не основываются на пространственно укорененном образе жизни, но становятся коммуникационными:

Ослабевание социальной связи стало предметом множества комментариев как слева, так и справа. Конкретнее говоря, ослабевает социальная связь национального промышленного общества, основанного на гегемонии. В глобальном информационном обществе социальные отношения сводятся к коммуникации. Никлас Луман понимал это, как никто другой. Социальное отношение — более долгосрочная связь, укорененная

---

6 Цитата из книги Жильбера Симондона «О способах существования технических объектов» (1958) приводится по переводу у Бернара Стиглера (Stiegler 1998: 73).

и предполагающая пространственную близость. Тогда как коммуникация — это кратковременная, разукорененная (даже при личном общении) и, как правило, в некотором смысле дистанционная связь (Lash 2010: 143).

В рамках того же процесса меняется и функция власти. Один из аспектов этой трансформации связан с сосредоточением власти в сложных технологических структурах — системах управления умными городами, цифровых архивах, поисковых системах и социальных сетях. Трудность для понимания того, что Александр Гэллоуэй называет властью протоколов (Galloway 2004), Лоуренс Лессиг и Дэвид Берри работой «кода» (Lessig 2006; Berry 2011), а Дэвид Бир вслед за Лэшем «алгоритмической властью» (Beer 2009), отчасти заключается в том, что работа компьютерной программы не видна. Даже если это программы с открытым исходным кодом, они все равно участвуют в формировании того, что Найджел Трифт называет «технологическим бессознательным». Это чревато тем, что Майк Крэнг и Стивен Грэм описывают как «делегирование полномочий по принятию всех решений со всеми их этическими и политическими составляющими невидимым и разумным системам» (Crang, Graham 2007: 811). Возможность освоения этой области затруднительна, потому что для этого требуются специальные знания. Ситуация осложняется еще и тем, что, как указывает Дэвид Берри (Berry 2011), компьютерные программы уже не пишутся вручную, а собираются из готовых, «фабричных» компонентов. Берри пишет:

Далеко не все знают, как работает компьютерный код, но когда он используется для создания сложных сборок, которые могут быть географически разрознены и работать с высокой степенью взаимозависимости, неудивительно, что мы все еще не в силах полностью уразуметь эти системы и технологии, работающие на основе кода (Ibid.: 99).

Вот почему сегодня чрезвычайно важно обращать внимание как на материальность, так и на логику информационно-вычислительных систем, в том числе и на то, каким образом они влияют на конфигурацию других систем и параметров. Однако не менее важно, чтобы подобный анализ не был изолированным. Для того чтобы код не попал в длинный ряд прочих технодетерминизмов, анализ алгоритмической власти необходимо проводить с учетом условий, в которых она осуществляется, — институциональных параметров, нормативно-правовой среды, бизнес-моделей и пользовательской культуры. Именно это я и попытался сделать, обсуждая сценарии, проступающие в таких явлениях, как Google Street View, цифровое публичное искусство и городские экраны, которые переосмыслены как платформы публичной коммуникации.

Для понимания происходящей сегодня трансформации власти недостаточно одного лишь признания новых форм технологической субъектности. Лэш утверждает, что мы сейчас вступаем в «постгегемонный» порядок, в котором «власть-сверху» (*potestas*) уступает место формам власти, оперирующим посредством «изобретения». Власть перестает быть внешней доминирующей силой, она становится имманентной:

В постгегемонном порядке *potestas*, или доминирование, начинает осуществляться еще и снизу. Различие между *rouvoir* и *puissance*\* так или иначе размывается, становится нечетким — так что они сливаются до неразличимости. Гегемон управляет сверху, снаружи, извне. В постгегемонном порядке власть начинает действовать снизу: она больше не находится за пределами того, на что она «влияет» (Lash 2010: 137–138).

Эта нечеткость, при которой доминирование и изобретение сливаются, лишней раз подтверждает амбивалентность цифровых технологий, о которой я говорил выше.

Подъем цифровых технологий и их нарастающая интеграция в повседневную жизнь в форме всевозможных разновидностей геомедиа делают цифровое пространство той территорией, где происходит изобретение новых практик коммуникации, коллективности и общности. В то же время цифровое пространство является областью, где зарождаются новые формы доминирования, которые Лэш называет «постгегемонными». Исходя из того, что повседневный жизненный мир активно медиатизируется и технологизируется (а значит, подвергается коммодификации и брендингованию), можно сделать вывод, что современная медийная система смещается в сторону партиципаторности и самоорганизации. В терминах Лэша доминирование, которое прежде было экстенсивным и оперировало посредством товаров и бюрократического аппарата, делает поворот в сторону интенсивности: доминирование становится нелинейным и итеративным и достигается в микропроцессах коммуникации с рекурсивной обратной связью.

Сегодня доминирование осуществляется посредством коммуникации. Коммуникация происходит не где-то над нами, это дисциплинарная власть осуществляется сверху. Коммуникация — между нами. Мы плаваем в ее эфире. Когда доминирование осуществляется посредством коммуникации, суверенитет, более того, демократия должны быть переосмыслены. И хотя медиа становятся его активным посредником, доминирование никогда еще не было настолько непосредственным. Настолько нереклексивным. Настолько лишенным отдельной сферы для дискурсивной легитимации. В отсутствие отдельной инстанции есть только, как говорил Лиотар, легитимация через перформативность. <...> Подобные хронические изменения требуют перехода к хроническому децизионизму. <...> Мы живем в эпоху такого хронического децизионизма, когда легальность доминирования определяется перформативностью (Ibid.: 144).

«Хронический децизионизм» — это не просто вопрос выбора между тем или иным товаром в рамках общества потребления, это еще и императив, требующий, чтобы индивид осуществлял свой выбор в отношении более широкого круга разных жизненных ситуаций. Прежние формы принадлежности, в основе которых лежал совместный опыт физического соседства и социальной близости (будь то работа или проживание всю жизнь в одном месте), для многих уже не являются чем-то надежным. Стремление строить свою идентичность интуитивно, экспромтом накладывает на индивида больше ответственности за взвешивание рисков разных жизненных выборов на всех уровнях, начиная от образования, трудоустройства и здоровья и заканчивая презентацией своего «я» как медийного артефакта.

Хотя возросшая индивидуальная автономия, возможно, и переживается как одна из форм свободы, вместе с этим отмирают многие старые формы и площадки общего опыта и коллективного взаимодействия. Вместе с децизионизмом появляется культура вечного оценивания, и все больше сфер жизни начинают подвергаться проверке на эффективность.

В этом более широком историческом контексте положение геомедиа приобретает судьбоносное значение; в условиях геомедиа все аспекты человеческой среды оказываются восприимчивыми к перекалибровке в качестве методов порождения экономической ценности. Стиглер связывает эту тенденцию с исторической конкретизацией цифрового в виде технического объекта:

Технический объект подчиняет свою «природную среду» разуму и в то же время натурализуется сам. Он конкретизируется, подстраиваясь к этой среде, но одновременно радикально ее меняет. Этот экологический феномен можно наблюдать в информационном измерении современной техники, в котором появляется возможность развития генерализованной перформативности (например, в аппаратах прямой трансляции и обработки данных в режиме реального времени с порождаемыми там искусственными инверсиями), но тогда оказывается, что в процесс конкретизации, который больше не мыслится в масштабе объекта, как и в масштабе системы, инкорпорируется, в сущности, именно человеческая среда, то есть человеческая, а не физическая география (Stiegler 1998: 80).

В этом контексте наше социальное чувство стало настолько обустраиваться технокультурным началом, что социальное взаимодействие в какой-то мере оказывается «разукорененным даже при личном общении» (Lash 2010: 143).

Как же тогда можно было бы переориентировать цифровое, чтобы породить «импульс», о котором говорил Стиглер и который необходим для того, чтобы выйти из нынешнего кризиса, связанного с неспособностью капитализма вселить в нас веру в какие бы то ни было ценности помимо безграничного потребления?

Вот что поставлено на карту в этот исторический момент трансформации медиа в геомедиа, когда будничная жизнь города начинает все больше зависеть от цифровых сетей, логистики больших данных и оперативных архивов. С одной стороны, пока эта масштабная техническая реструктуризация прочно связана с современной моделью капитализма, результатом будет беспрецедентное распространение логики коммодификации. Реструктуризация промышленного изобретения в виде системы инновации повторится на индивидуальном уровне как запрос на персональную инновацию, когда индивидуальная идентичность будет подчинена императивам оценивания собственной конкурентоспособности и процессам самораскрутки (selfmarketing). Стиглер утверждает, что эта траектория ведет к «опасному чувству недовольства собой и полной утрате веры в будущее», когда образуется порочный круг, в котором оттягивается срочно необходимое обсуждение глобальных вызовов и одновременно подпитывается ресентимент, проявляющийся в жгучих межэтнических и религиозно-политических конфликтах (Stiegler 2011: 28).

И все же, как я уже говорил, вопреки, а может быть, и благодаря тому, что «цифра» колонизирует пространство-время городской повседневности, для выхода из нынешнего тупика следует двигаться именно в цифровом направлении. Появление децентрализованных коммуникационных платформ с глобальным распределением открывает небывалый в истории горизонт возможностей для выработки столь необходимых сегодня новых форм постнациональной солидарности. Если одним из вызовов является переосмысление условий функционирования этих платформ, то это подразумевает, как писал Жан-Люк Нанси, переосмысление самой коммуникации (Nancy 1991). Для этого, в частности, можно сосредоточиться на отношении между сообщением (communication) и сообществом (community). Задача настоящего момента в том, чтобы попытаться по-новому представить, как могли бы выглядеть процессы проживания и выстраивания отношений с другими, больше не связывая себя традицией определять варваров как абсолютно чуждых. Я попытался показать, что пересечение между геомедиа и городским общественным пространством может служить сегодня стратегической площадкой для решения этой политической задачи — по-новому вообразить коммуникацию, бытие-с-другими и практики проживания.

Я уже говорил ранее, что существует и другое, пока еще до конца не продуманное измерение этой проблематики переосмысления коммуникации в контексте геомедиа. Это связано с тем, насколько сильно западная философия вложила в определенный тип мышления о «средстве» (media). Как показал Жак Деррида, метафизика никогда не ставила под сомнение идеал присутствия на том основании, что в понимании времени привилегия всегда отдавалась настоящему моменту (Derrida 1976)<sup>7</sup>. Это обстоятельство, знаменующее ход истории и определяющее господствующее понимание истории как таковой, дополняется еще несколькими факторами. Во-первых, это платоническое определение мимесиса (как репрезентации, образа, письма, припоминания или знака) как чего-то вторичного, понимаемого как видоизмененная форма присутствия. В Новое время это противопоставляющее понимание присутствия и отсутствия (с его тесной связью с линейной концепцией времени) замешано в парадоксальное инвестирование в медиатеchnологию. Медиа, как правило, либо трактуются как «всего лишь репрезентация», а следовательно, их можно не воспринимать всерьез, ведь они не совсем реальны, либо, с другой стороны, идеализируются как некий нейтральный «передатчик» присутствия. Изображаются ли медиа как «окно в мир», «лучшее место в зале» или вездесущее средство, которое помогает нам оставаться «в контакте» с друзьями и близкими, они всегда преподносятся как средство преодоления отсутствия и овладения им.

Благодаря этому в настоящее время возникает характерная загадка. Противоречия, связанные с позиционированием медиа как вторичности, становятся все ощутимее на жизненном уровне в момент, когда так много вещей из нашего непосредственного опыта (как его

---

<sup>7</sup> Деррида пишет: «От Парменида до Гуссерля привилегия присутствующего [настоящего] никогда не ставилась под вопрос. Она и не могла быть под него поставленной. Она есть сама очевидность, и ни одна мысль не кажется возможной вне ее стихии. Не-присутствие всегда мыслится в форме присутствия <...> или как видоизменение настоящего присутствия. Будущее и прошлое всегда определены как прошлое настоящее или будущее настоящее» (Derrida 1982: 34).

когда-то понимала феноменология) теперь столь тесно переплетены с практиками медиации в режиме реального времени. Однако вместо того, чтобы использовать это новое обстоятельство для нового обдумывания терминов оппозиции «присутствие — отсутствие», на которой основываются все наши представления об опосредующем и непосредственном, это только укрепляет позиции технотерминизма. Вторичность, дистанцированность и отсутствие будут трансцендированы благодаря цифровому изобилию, которое наконец избавилось от многих приписывавшихся ему утопических свойств и все откровеннее определяется в терминах технической эффективности (выше скорость передачи данных, больше пропускная способность каналов связи, лучше разрешающая способность экранов).

Зигфрид Кракауэр как-то заметил, что выстраивать корреляцию между философией и историей бесконечно соблазнительно и бесконечно рискованно. Тем не менее мне кажется, будет полезно взглянуть на медиаисторию — в том широком смысле, в каком Стиглер понимает историю медиа, тянущуюся от орфографического письма к кинематографу, электронному телевидению и далее к «цифре», мыслимым как фазы нелинейного развертывания «грамматизации», сопровождающей эволюцию «человеческого» и «технологического» в качестве взаимосвязанных, а не противопоставляемых терминов — как на сложное поле, где основная ставка сделана на «присутствие» (Stiegler 1998). С ослаблением теологии новым символом веры становится скорость. Современные медиа — название которых начинается с «теле» (вплоть до телеприсутствия и т.д.) — были первейшим инструментом преследования «сейчас» (now), осуществляя тем самым тайную мечту человека модерна о пребывании в абсолютном мгновении. Эта цель продиктована характерным для этой эпохи стремлением овладеть не просто природой, но и самим временем. Но, как показывает Хайдеггер, здесь нас ждет разочарование. Чем активнее мы настаиваем на том, что захватили мгновение, тем решительнее чувство, что оно от нас ускользает. Доминирующие сегодня направления развития геомедиа свидетельствуют о том, что маркерами проекта «проживания в моменте» являются конкуренция и желание овладеть — ресурсами, событиями, местами и временем, — так что это не имеет ничего общего с возможной настройкой на множественность мира. Вместо этого мы на собственном опыте видим, как социальное время превращается в объект меновой стоимости. Технически дополненный человек, постоянно подключенный к геомедиа в режиме реального времени, воображается не имеющим ни пространственных, ни временных, ни материальных границ, но эта погоня за «сейчас», в которой важно везде успеть, изматывает его все сильнее. Гонка, в которой раньше соревновались государства и корпорации, теперь разворачивается на индивидуально-психическом уровне, попутно порождая новые ритмы, новые субъективности и новые поводы для тревоги. Выпутаться из этой ситуации будет непросто. Я говорил, что от того, каким образом дается ответ на вопрос о праве на сетевой город, во многом будет зависеть то, какими станут наши города и какими людьми мы станем в будущем. С учетом всего вышесказанного я бы добавил, что поиск альтернативы не равен отказу от медиа во имя непосредственности, но предполагает стремление к переустройству их господствующих форм и направлений. В частности, мы должны признать, что описанное мной поляризованное и ограничен-

ное понимание медиа тесно связано с давним противопоставлением человека как некоего природного живого существа и техники как его назойливого иного. Для того чтобы по-другому относиться к медиа, мы должны изменить курс.

Что, если, как полагает Стиглер, техника на самом деле является неотъемлемой частью конституции человека, одним из его конститутивных потенциалов? О медиа в таком случае следует думать в рамках социальных отношений непосредственности, изнутри, так сказать. Я вполне осознаю, что предложить подобный взгляд на вещи гораздо проще, чем придерживаться его. Мышление бытия как присутствия или полноты, тесно связанное с линейной концепцией времени, всегда было подвержено противоречиям, особенно вокруг отношений между сознанием и памятью как архивированием опыта. Если эти отношения так или иначе оспаривались (по крайней мере, начиная с Ницше и Фрейда), то наши господствующие принципы понимания медиа так и остаются незыблемыми. Я пытался показать, что сегодня стык геомедиа и общественного пространства является жизнеспособной ареной, на которой можно было бы предпринять новые шаги в проработке цифрового и технологического начала. Это подразумевает, что растущую медиатизацию повседневности можно использовать как средство для исследования исторических противоречий, укорененных в метафизике присутствия. Действуя таким образом, мы могли бы начать открывать и развивать новые практики — способы социального взаимодействия, отношения с другими, способы бытия с близкими и далекими другими, — которые полностью не укладываются в рамки прежних логик. Именно эти пространства и практики, возможно, научат нас лучше разбираться во множественных темпоральностях, задействованных в хронически опосредованных личных отношениях настоящего времени, и помогут узнать, что может быть общего у крайне дифференцированных и все более мобильных городских жителей, включенных в сложную хореографию присвоения города.

# БИБЛИОГРАФИЯ

- Aristotle. *Politics* // *The Complete Works of Aristotle* / Ed. by J. Barnes. Princeton: Princeton University Press, 1984. Vol. 2.
- Bauman Z. *Liquid Life*. Cambridge: Polity, 2005 [Бауман З. *Текучая современность*. СПб.: Питер, 2008].
- Beer D. *Power through the Algorithm: Participatory Web Cultures and the Technological Unconscious* // *New Media & Society*. 2009. Vol. 11. № 6. P. 985–1002.
- Berry D. *The Philosophy of Software: Code and Mediation in the Digital Age*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
- Chun W. *Control and Freedom: Power and Paranoia in the Age of Fibre Optics*. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.
- Crang M., Graham S. *Sentient Cities* // *Information, Communication and Society*. 2007. Vol. 10. № 6. P. 789–817.
- Dayan D., Katz E. *Media Events: The Live Broadcasting of History*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
- Deleuze G. *Postscript on the Societies of Control* // *October*. 1992. Vol. 59 (Winter). P. 3–7.
- Derrida J. *Of Grammatology* / Transl. by G. Ch. Spivak. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976 [Деррида Ж. *О грамматологии*. М.: Ад Маргинем Пресс, 2000].
- Dyson E., Gilder G., Keyworth J., Toffler A. *A Magna Carta for the Knowledge Age* // *New Perspectives Quarterly*. 1994. Vol. 11 (Fall). P. 26–37.
- Galloway A. *Protocol: How Control Exists After Decentralization*. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.
- Graham S. *Cities Under Siege: The New Military Urbanism*. London; New York: Verso, 2010.
- Hardt M., Negri A. *Commonwealth*. Cambridge, MA: Belknap Press, 2009.
- Harvey D. *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. London; New York: Verso, 2012.
- Heidegger M. *The Question Concerning Technology and Other Essays* / Transl. by W. Lovitt. New York: Harper and Row, 1977 [Хайдеггер М. *Вопрос о технике* // *Он же. Время и бытие*. М.: Республика, 1993].
- Insurgent Public Space: Guerrilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities* / Ed. by J. Hou. Abingdon: Routledge, 2010.
- Lash S. *Intensive Culture: Social Theory, Religion and Contemporary Capitalism*. London: Sage, 2010.
- Le Corbusier. *Towards a New Architecture* [1923] / Transl. by F. Etchells. London: Architectural Press, 1946.
- Lefebvre H. *The Right to the City* [1968] // *Writings on Cities* / Ed. by E. Kofman, E. Lebas. Oxford: Blackwell, 1996.
- Lessig L. *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books, 2006.
- Marcuse H. *Some Social Implications of Modern Technology* // *Technology, War and Fascism: Collected Papers of Herbert Marcuse* / Ed. by D. Kellner. London: Routledge, 1998. Vol. 1.
- McCullough M. *Digital Ground*. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.
- McQuire S. *Visions of Modernity: Representation, Memory, Time and Space in the Age of the Camera*. London: Sage, 1998.
- Nancy J.-L. *The Inoperative Community* / Transl. by P. O'Connor, L. Garbus, M. Holland, S. Sawhney. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991 [Нанси Ж.-Л. *Непроизводимое сообщество*. М.: Водолей, 2009].
- Sassen S. *Talking Back to Your Intelligent City* [voices.mckinseysocietv.com/talking-back-to-your-intelligent-city].
- Sassen S. *Open Source Urbanism* // *New City Reader*. 2011. № 15 [www.domusweb.it/en/open-ed/2011/06/29/open-source-urbanism.html].
- Stiegler B. *Technics and Time 1: The Fault of Epimetheus* / Transl. by R. Beardsworth, G. Collins. Stanford: Stanford University Press, 1998.
- Stiegler B. *The Decadence of Industrial Democracies*. Cambridge: Polity, 2011. Vol. 1: *Disbelief and Discredit* / Transl. by D. Ross, S. Arnold.
- Virilio P. *Open Sky* / Transl. by J. Rose. London; New York: Verso, 1997 [Вирильо П. *Машина зрения*. СПб.: Наука, 2004].
- Revision of World Urbanization Prospects* / United Nations. 2014 [esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf].





# Здания соединяются в город

Я всегда утверждал, что места сильнее людей, неизменные декорации сильнее меняющегося действия. Это теоретическая база не моей архитектуры, а архитектуры вообще.

Альдо Росси<sup>1</sup>

Улица — это комната по общему согласию.

Луис Кан

Архитектура никогда не находится в изоляции. Хочет того архитектор или нет, каждое здание так или иначе связано с теми, что стоят по бокам, позади, за углом или дальше по улице. Если же вокруг нет других зданий, произведение архитектуры связано со своим природным окружением, влияние которого может быть ничуть не менее сильным. Сооружая в 1929 году в парижском пригороде Пуасси виллу Савой, Ле Корбюзье поместил ее на открытую лужайку, словно некую машину посреди сада.

Тем не менее назвать ее оторванной от мира можно примерно с тем же успехом, что и стоящий в шеренге себе подобных многоквартирный дом на бульваре Монпарнас в нескольких километрах к востоку. По мысли архитектора, из виллы на все четыре стороны открывается вид на окружающий ландшафт, а тот играет роль декорации для стоящего посреди него здания. Ни дом, ни ландшафт не производили бы такого впечатления друг без друга. Что еще важнее, по отдельности они никогда бы не приняли такую форму. Если бы Ле Корбюзье проектировал виллу Савой для другого участка, это было бы совершенно другое здание.

---

<sup>1</sup> Научная автобиография (1981); рус. пер. А.В. Голубцовой.

Для некоторых зданий, вроде поразительного Дома над водопадом, построенного Фрэнком Ллойдом Райтом прямо над ручьем в пенсильванской глуши, связь между архитектурой и ее окружением очевидна и незыблема. Куда чаще, впрочем, нам значительно труднее осознать, в какой мере архитектурный проект является реакцией на то, что находится рядом, и как именно здание соединяется со своим окружением, определяя тем самым дух места. Тем не менее это соединение происходит, даже если конкретный участок и не является, как в случае Дома над водопадом, отправной точкой для архитектурного решения. Беленый деревянный дом в колониальном стиле, обращенный окнами с черными ставнями на лужайку в центре деревни в Новой Англии, отличается от точно такого же дома, стоящего посреди полей, а он в свою очередь — от такого же дома, прячущегося за белой изгородью у проселочной дороги. Они могут быть одинаково построены, но контекст делает их совершенно разными. Перенесите этот дом из сельской Новой Англии на южнокалифорнийскую улицу — такие дома то и дело попадают среди тамошних вилл в испанском колониальном стиле — и он снова изменится, на этот раз на порядок сильнее, поскольку теперь не будет сочетаться вообще ни с чем. В первых трех случаях он находится среди себе подобных, в том месте — будь то новоанглийская деревня или окружающие ее поля, — с которым он по самой своей природе имеет сильную внутреннюю связь. В Лос-Анджелесе такой дом кажется неуместным, во многом потому, что он ассоциируется у нас с Восточным побережьем и в Калифорнии инстинктивно воспринимается как вырванный из контекста. С другой стороны, в некоторых районах Лос-Анджелеса контекст сам по себе так разнообразен, что целые улицы выглядят как архитектурная сборная солянка, где ни одна часть не подходит к другой (или же, наоборот, что угодно оказывается к месту — в зависимости от вашей точки зрения).

Когда здания достаточно похожи, улицы из них получаются лучше. Но тут возникает вопрос — что значит «достаточно»? Если они совсем одинаковые, результат может оказаться невыносимо скучным. От внешнего вида улицы мы отчасти ожидаем зрительной стимуляции, а это невозможно без определенного разнообразия. Вспомните традиционную Мэйн-стрит маленького американского городка с ее чересполосицей каменных и кирпичных зданий в один, два и три этажа. Некоторые из них могут быть украшены деталями из резного камня или лепными карнизами, фасады других — совсем простые. Какие-то составляют 9 метров в ширину, а соседние — 14 или 18. Один магазин украшен крупной вывеской, другой может похвастаться голубой маркизой, а на третьем светятся старомодные неоновые буквы. Где-то рядом стоит старинный банк с каменным дорическим портиком, а если город достаточно велик, то, быть может, и офисное здание высотой в шесть, семь или восемь этажей. Ни одно из зданий не повторяет другое, но все действуют заодно, в основном потому, что они имеют один масштаб — то есть одно соотношение с человеческим ростом — и близкие общие размеры, построены из схожих материалов и характеризуются одинаково уважительным отношением к улице. Они развернуты лицом к улице и расположены с учетом интересов идущего по ней человека. Называя улицу «комнатой по общему согласию», Луис Кан имел в виду неписаное соглашение между архитекторами, возводящими дома на одной улице, в соответствии



Сентрал-Парк-Уэст, Нью-Йорк

с которым они являются не конкурентами, а соратниками по общему делу, даже если их здания совсем непохожи между собой. Подобно хорошим танцорам, архитекторы подхватывают движения друг друга и стараются не отдавить ногу партнеру.

Однако эти ограничения оставляют огромный простор для самовыражения. Сентрал-Парк-Уэст — одна из лучших улиц Нью-Йорка, куда достойнее, чем тот отрезок Пятой авеню, который смотрит на нее с другой стороны Центрального парка.

Сентрал-Парк-Уэст может похвастать зданиями в диапазоне от Дакота-апартаментс Генри Харденберга (1884 года постройки) до 15 Сентрал-Парк-Уэст Роберта Стерна (2008). Кроме прочего, тут стоят четыре знаменитых двухбашенных многоквартирных дома начала 1930-х годов: Сенчури-апартаментс и Мажестик-апартаментс Ирвина Ченина, Сан-Ремо-апартаментс Эмери Рота, а также Эльдorado-апартаментс, результат сотрудничества Рота с архитектурной фирмой Margon & Holder. Каждое из этих зданий не похоже на остальные, и ни к одному невозможно применить эпитет «сдержанный». Решенное в стилистике немецкого возрождения здание Дакота-апартаментс и в хронологическом, и в архитектурном смысле очень далеко отстоит от вторящего позднему ар-деко 1930-х годов известнякового фасада 15 Сентрал-Парк-Уэст. Но все эти здания сочетаются так же хорошо, как и те, которые выстроились вдоль нашей гипотетической Мэйн-стрит провинциального городка, — и по той же самой причине. На протяжении более ста лет архитекторы соблюдали тут неписаное соглашение о сотрудничестве — выстраивали дома по одной линии, соблюдали единый масштаб и использовали сочетаемые строительные материалы. В итоге город получил бульвар, в котором

представительность сочетается с богатством зрительных впечатлений. Сентрал-Парк-Уэст полезно сравнить с расположенной на другой стороне Манхэттена Парк-авеню, вдоль которой на протяжении почти трех километров выстроились одинаковые многоквартирные дома: целостность ансамбля оборачивается там недостатком. Хаос обуздан до такой степени, что результатом стала скука. Представительность смотрится обаятельнее, если она наделена визуальной энергией.

Это помогает понять, чем хорош городской ансамбль Парижа, в основном состоящий из единственного типа зданий: сложенных из камня восьмиэтажных многоквартирных домов. Дело не только в том, что все здания схожи, — пример Парк-авеню показывает, что этого не всегда достаточно; но и в том, что каждое само по себе так эффектно. Лепнина, карнизы, балконы, высокие окна и широкие дверные проемы сообща придают разнообразие и структуру каждому из известняковых фасадов на просторных парижских бульварах, обеспечивая наблюдателю должную меру чувственного удовольствия. Самое обыкновенное парижское здание соединяет в себе шик и солидность. Целостность тут находится в идеальном равновесии с разнообразием. Легко уловить общий мотив: взглянув на фасад, мы видим, что он типичен и повторяется по всему городу. Но это осознание повторяемости никогда не заслоняет собой визуального удовольствия, которое доставляет каждый фрагмент уличного пейзажа.

До некоторой степени это относится ко многим европейским городам, хотя чаще всего им в этом отношении далеко до Парижа. В западной части центрального Лондона, в районах вроде Найтсбриджа или Кенсингтона, этот эффект обеспечивают шеренги краснокирпичных домов Викторианской эпохи, а в соседней Белгравии ряды таунхаусов, выкрашенных в светлые тона. (Хотя в этом случае однообразие оказывается почти избыточным. Удержать наше внимание позволяет только поразительное богатство светло-бежевых зданий, словно сделанных из замороженных взбитых сливок.) Сама идея выстраивать одинаковые городские дома в прямолинейные или, того лучше, изогнутые дугой террасы особенно характерна именно для Англии. Династия архитекторов, состоявшая из Джона Вуда — старшего и его сына Джона Вуда — младшего, создала в английском городе Бате круглую площадь Серкус и полукруглый Роял-кресент, где обычные по размеру жилые дома соединяются в композиции, которые сложно описать иначе как монументальные. (Вид на стоящий на кромке холма Роял-кресент можно по справедливости отнести к самым впечатляющим городским панорамам мира.) Примерно того же эффекта Джон Нэш добился в своих лондонских проектах вроде Риджентс-парк-кресент, Камберленд-террас или Карлтон-террас: стоящие в ряд частные дома образуют единую архитектурную композицию — масштабную, элегантную и выдержанную.

И для Нэша, и для обоих Вудов отдельные дома были чем-то вроде танцовщиц в кордебалете. Выглядеть они должны одинаково, а их движения рассчитаны так, чтобы производить определенный общий эффект. И, как и в настоящем кордебалете, главный секрет успеха тут в том, чтобы балетмейстер разобрался в своем деле. В неумелых руках все может закончиться полной неразберихой или тоской. Но и Нэш, и Вуды идеально чувствовали баланс между единообразием и насыщенностью структуры. Все дома у них одинаковы, но каждая танцовщица в этом кордебалете привлекательна сама по себе. Подоб-



Джон Вуд — младший. Роял-кресент, Бат, Англия

но зданиям на парижских бульварах — или, что будет точнее, зданиям на Вандомской площади и площади Вогезов, где они выстроены вокруг центрального пространства, — каждый дом по отдельности выглядит щедрым и чувственным. У них комфортный, располагающий к себе масштаб. Каким бы монументальным ни был Роял-кресент в Бате, его монументальность образуется из соединения вполне соразмерных человеку компонентов.

Помимо условного «кордебалета», существует немало других типов уличной застройки, и чаще всего улица требует куда большей степени разнообразия, чем можно обнаружить среди подобных террас кругов и дуг. Тем не менее такие ансамбли являются самым ярким из доступных нашему воображению примеров важного градостроительного принципа, в соответствии с которым целое всегда больше суммы своих частей. Я пойду еще дальше и заявлю, что это важнейший из принципов градостроительства: целое больше суммы своих частей. Это не значит, что все части должны быть одинаковыми или что они должны быть так же безоговорочно подчинены общему замыслу, как в проектах Нэша или Вудов. Но это значит, что для нормального функционирования города каждый архитектор должен понимать, что он трудится над небольшим фрагментом куда более крупной композиции, работа над которой началась задолго до его рождения и продолжится после

его смерти; и что как бы сильно его здания ни отличались от того, что находится рядом, их нельзя строить так, как будто рядом ничего нет.

На протяжении более чем столетия архитекторы и градостроители пытались вывести общую формулу улицы, привлекательной для своих обитателей, но так и не добились в этом полного успеха. Венский архитектор Камилло Зитте, чья книга «Художественные основы градостроительства» во многом заложила основы современного городского планирования, не одобрял длинные прямые улицы, которые, по его мнению, наводят на горожан тоску, и огромные площади с круговым движением, вроде парижской площади Звезды, которые почти невозможно пересечь. Зитте нравились нерегулярно расположенные открытые городские пространства, которые он описывал как «комнаты» города. Предметом его особого восхищения были средневековые города с их извилистыми улочками и постоянно меняющимися видами. Его основными приоритетами явно были интересы пешеходов, а также представление о городе как о дружелюбной, а не агрессивной среде обитания.

Мне очень симпатичен Тристан Эдвардс, архитектор и теоретик (хотя последнее определение применимо к нему лишь с некоторой натяжкой), который развил идеи Зитте в вышедшей в 1924 году книге под названием «Хорошие и дурные манеры в архитектуре». Для Эдвардса архитектура и градостроительство были прежде всего вопросами этикета: человеку пристало уважать своих ближних, того же нужно требовать и от зданий. Здания, говорит Эдвардс, должны проявлять почтение друг к другу. Он превозносит традиционные города с их внятной иерархией: важнее всего общественные и религиозные здания, а уже потом следуют магазины, офисы и жилые дома. «Такое устройство города является выражением общественного порядка, социальной стабильности и крепкого консервативного духа, — пишет он. — Этот драгоценный уклад между тем не может устоять, когда здания начинают проявлять серьезную склонность к эгоизму, глубокое безразличие и к соседям, и ко всему городу, частью которого они являются». Неудивительно, что чуть ниже Эдвардс переходит к обличению небоскреба как крайнего выражения тревожащей его страсти к наживе. И далее: «Рассмотрев широкие последствия такого слишком энергичного самовыражения отдельных торговых заведений, мы поймем, что подобная архитектурная политика ведет к разрушению облика наших улиц».

Занудство Эдвардса может вызывать улыбку — в главе «Жупел однообразия» один из разделов называется «Беспардонный фронтон», — и тем не менее ему нельзя отказать в определенной прозорливости. Он понимал, что кварталы одинаковых зданий навевают скуку, но аляповатость и перегруженность деталями не являются адекватным ответом на нашу потребность в разнообразии (еще один раздел озаглавлен «Порок симпатичности»). За надменностью и нарочитой реакционностью Эдвардса скрывается ясное понимание тех принципов, которые делают одни городские улицы приятными глазу, а другие — невыносимыми.

В первую очередь он понимал, что город состоит из двух принципиально разных типов застройки: зданий переднего плана и зданий фона. Перед ними стоят разные задачи по отношению к городу, они имеют разный смысл, и потому в них уместна разная архитектура. Улица или район, где сосредоточено слишком много зданий перед-

него плана, превращается в сумбурную какофонию, даже если каждое из них по отдельности прекрасно спроектировано. Но улица, вовсе лишенная таких зданий, окажется безнадежно скучной. Вспомните, к примеру, те лондонские кварталы, которые, в отличие от специально спланированных ансамблей Нэша или Вудов, представляют собой просто бесконечные ряды одинаковых кирпичных домов. От тоски в таких местах сводит скулы.

Здания переднего плана не обязаны напоминать своих соседей — наоборот, зачастую лучше, чтобы они были на них не похожи. Построенный Фрэнком Гери музей Гуггенхайма в Бильбао является прекрасным примером средового подхода в архитектуре не потому, что напоминает что-либо из своего окружения, — странно было бы это утверждать про титановый объект сложнейших очертаний, поставленный среди старых каменных домов, — но потому, что архитектор проектировал его, ни на секунду не забывая о соседних зданиях. С одной стороны музей великолепно раскрыт к реке, но с другой, где мы видим его в просвете одной из старинных улиц города, вид на него оказывается еще более впечатляющим. Отсюда здание смотрится восклицательным знаком в конце городской перспективы; оно превращает Бильбао в сцену для собственного представления. Ни один из этих эффектов не случаен: Гери уделяет окружению своего здания не меньше внимания, чем Джон Нэш в Лондоне. Гери хотел, чтобы его музей выделялся — именно в этом, в возведении здания первого плана, и состояла его задача, — но методика, которую он выбрал для решения этой задачи, не имела ничего общего с безразличием к окружающей застройке. Наоборот, в основе лежало глубокое понимание местного ландшафта и того, как именно новое здание может выгодно заиграть на таком фоне.

Если за всю жизнь я хоть что-то узнал о том, что делает город комфортным как произведение дизайна, — это то, что улицы значат в этом деле куда больше, чем здания. На первый взгляд такое заявление из уст архитектурного критика может показаться странным, но восхищение городом — это не то же самое, что радость от архитектуры, и отлично спроектированные здания отнюдь не могут его гарантировать. В разных городах мира я провел самые упоительные минуты, гуляя по улицам, на которых нет ни одного значительного здания: Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, Строгет в Копенгагене или рю Жакоб в Париже. Для каждой из них характерны ощущение кипения жизни, соразмерный человеку масштаб и достаточное для поддержания визуального внимания разнообразие. Памятники архитектуры могли бы тут только помешать.

Город, однако, — это нечто большее, чем просто совокупность улиц; давайте взглянем на него чуть более широко, чтобы поговорить о городе в данный исторический момент не просто как об итоге градостроительной деятельности, но как о выражении нашей культуры. Велико ли значение города в компьютерную эпоху? И насколько важен теперь дух места — то, что помогают ощутить именно здания? Несмотря на почет и даже преклонение, которым архитектура пользуется в современной культуре, где поразительные здания современных архитекторов становятся привычными уже не только в крупных, но и в средних и малых городах по всему миру, я не уверен, что мы в полной мере сохранили когда-то имевшийся у нас навык создавать сильный дух места в городских пространствах. Парадоксальным образом бум

ярчайшей архитектуры — то, что некоторые называют «эффектом Бильбао», — мало что смог противопоставить тому процессу, в ходе которого города начинают все больше напоминать друг друга; ощущение особой, редкой или даже уникальной городской атмосферы стремительно исчезает. Выдающийся историк ландшафтной архитектуры Дж. Б. Джексон писал в 1994 году: «По крайней мере в самых современных из наших рукотворных ландшафтов архитектура в древнем, самом формальном смысле больше не является символом иерархии, преемственности, сакральности и коллективной идентичности; дороги же и автостреды пока не приняли на себя эту функцию».

С чем дороги и автостреды успешно справлялись на памяти последних поколений — так это с постепенным уничтожением различий между городами, и цифровые технологии теперь продолжают этот процесс. «Дорога задает свои собственные модели движения, расселения и трудоустройства, но пока не породила собственный тип красоты ландшафта или особый дух места, — продолжал Джексон. — Именно поэтому можно сказать, что насчитывающая тысячу лет западная ландшафтная традиция уступает сейчас место изменчивой организации пространства, которую мы пока еще не совсем понимаем».

В компьютерную эпоху истинность этих слов Джексона еще сложнее оспорить. Углубляться в тему гомогенизации культуры тут было бы неуместно, но без учета ее гигантского влияния невозможно рассуждать о смысле архитектуры в наше время. Когда американцы строят небоскребы в Сингапуре и Шанхае, а швейцарцы проектируют музеи в Сан-Франциско и стадионы в Пекине, когда рестораны McDonald's можно найти повсюду, от Токио до Парижа, когда автостреды создают одинаковые автомобильные ландшафты почти по всей планете, когда расплывание пригородной застройки сделало окрестности Лондона неотличимыми от окрестностей Далласа, — не становится ли сама концепция духа места не более чем праздным излишеством? Если каждый город будет и дальше становиться все более похожим на все остальные города, а каждый пригородный узел — на все остальные пригородные узлы, то останется ли вообще хоть какой-нибудь смысл в самобытном архитектурном творчестве?

И не так уж важно, что складывающаяся на наших глазах глобальная форма архитектуры является, по сути, продуктом Америки и автомобилизации. Подобная культурная гегемония не сулит нам никаких радостей, особенно если учесть, что тенденция к единообразию охватила территорию США точно так же, как и весь остальной мир: Бостон все больше похож на Атланту, Денвер — на Хьюстон, а Шарлотт — на Цинциннати. Окружающие их пригороды еще более взаимозаменяемы и скорее являются продуктом своего времени, а не места. Краинный офисный центр в Бетесде, штат Мэриленд, идентичен окраинному офисному центру в Портленде, штат Орегон; торговый комплекс в Питтсфилде, штат Массачусетс, невозможно отличить от торгового комплекса в калифорнийском Фресно — даже магазины те же.

Архитектура всегда была отражением своего времени, и это совершенно правильно. Прежде, однако, она возникала не только из духа времени, но и из духа места, отражая материалы, нужды, воззрения и предпочтения, свойственные конкретным городам или общинам. В наше же время «дух места» как ценность начал казаться анахронизмом, пережитком прошлого, поскольку мы быстро добираемся от



Фрэнк Гери. Музей Гуггенхайма, Бильбао, Испания

города до города, пересекая полмира за считанные часы, а еще чаще и вовсе не двигаемся, но прибегаем к помощи электронных средств коммуникации, работающих со скоростью света. Даже оставаясь на одном месте, мы куда меньше укоренены в нем. Город теперь — это перевалочный пункт, а не законченный образчик нашего частного мироздания. Мы находимся в городах проездом, то в реальном, то

в виртуальном мире, но так или иначе наша связь с ними недолговечна и слаба.

Смысл человеческого общежития, а следовательно и смысл архитектуры, в таком мире должен неизбежно меняться. Мы общаемся онлайн никак не меньше, чем лицом к лицу, мы можем мгновенно соединиться по мобильному с приятелем на другом конце планеты, а человеческие контакты, определяемые материальным окружением, встречаются на нашем пути все реже и реже. В киберпространстве значение материального окружения не очень велико — основной вклад архитектуры в процесс электронной коммуникации сводится к тому, чтобы защищать нас и наши компьютеры от непогоды. Она не создает фона для общения и тем самым не определяет множество его тончайших аспектов, как это происходит в «реальных» человеческих контактах; она становится невидимой. Архитектура больше не является той сценой, на которой разыгрывается драма человеческой жизни. Хотя веб-камеры и видеосвязь отчасти компенсируют эту потерю, обеспечивая хотя бы визуальный фон для общения, это отнюдь не то же самое, что физическая обстановка. Сложно избавиться от ощущения, что функция архитектуры как социального интерфейса и общественной территории в киберпространстве практически исчезает. Значит ли это, что архитектура бесполезна и избыточна в творимом новыми технологиями мире?

С другой стороны, технологическая революция превращает в город практически все на свете. Случайные контакты и счастливые встречи, которые так часты в интернете, замена линейного порядка сложнейшей паутиной возникающих, меняющихся и исчезающих взаимосвязей, постоянное ощущение неожиданности и изумления — это как раз то, что всегда давали нам реальные города и за что мы их ценили. Случайные встречи — это ценнейший дар городского образа жизни, и именно они являются характерной особенностью киберпространства. Не зря же интернет-провайдеры любят описывать зоны пользовательского общения с помощью архитектурных метафор — «форум», «городская площадь», «гостиная» — и зачастую обозначают вход в них с помощью пиксельных изображений дверей. Технологический взрыв превращает весь мир в новый виртуальный город, в невиданную прежде ярмарку человеческих взаимосвязей, которая больше не определяется архитектурными формами.

Между тем нам не вполне комфортно в этом новом городе, и есть все основания полагать, что мы еще отнюдь не готовы полностью отказаться от архитектуры. Здания пока не стали пережитком прошлого и еще не скоро им станут. Но они больше не определяют абсолютно все наши общественные пространства, не являются единственными подмостками для нашего общественного, а значит, и гражданского опыта. Таким образом, значение архитектуры в нашем обществе будет и дальше неизбежно меняться, подобно тому как оно менялось в ходе предшествующих технологических преобразований последнего столетия. Появление автомобиля, телефона и телевизора наложило глубокий отпечаток на то, как мы используем, а следовательно, проектируем и частные, и общественные пространства, — а влияние компьютера будет еще более мощным.

Сколько бы силы все еще ни оставалось в старых городах, мы в любом случае все меньше и меньше полагаемся на привычный город с плотной застройкой, которому полагается иметь оживленные

и многолюдные улицы. Даже в тех случаях, когда мы еще встречаемся друг с другом не в виртуальном, а в материальном мире, мы все чаще делаем это в местах нового типа, которые можно назвать псевдо- или параурбанистическими. Эта модель не менее важна для формирующегося определения города, чем киберпространство. Для нее характерен приоритет автомобильной доступности по сравнению с удобством для пешеходов, а также стремление соединить комфорт и покой пригородов с преимуществами традиционного города: большой выбор магазинов, ресторанов и общественных пространств, наличие центров исполнительского и визуального искусства и общий уровень оживленности, сравнимый с прежними, основанными на уличной планировке городами. Иногда такие новые гибриды пригородов и городских центров возникают в пригороде, иногда на окраине города, а иногда и прямо внутри него.

Можно сказать, что обеспечение определенного городского опыта в отрыве от поощрения контакта между разными категориями населения становится новой парадигмой города — теперь средний класс может чувствовать себя там в полной безопасности. В то время как традиционные города непрестанно требовали от своих жителей вовлеченности, для этой новой парадигмы верно прямо противоположное. Демонстрируя напускное почтение к прежним городским добродетелям, она одновременно позволяет горожанину замкнуться в себе.

Эта новая парадигма не столько меняет города, сколько ведет к размыванию прежних границ между городом и пригородом. Хотя многие старинные города пытаются представлять себя на глобальном рынке оживленными, энергичными и передовыми в культурном плане, самым полным воплощением новой парадигмы являются так называемые города-спутники, которые возникают в наше время возле почти каждого крупного мегаполиса. При плотности выше традиционной пригородной, но гораздо ниже, чем в прежних городских центрах, они совмещают торговые моллы, отели, офисные здания, а иногда и жилую застройку. В районах вроде Сити-Пост-Оук в Хьюстоне, Тайсонс-Корнер под Вашингтоном, Бакхед к северу от Атланта или Лас-Колинас возле Далласа высотная застройка соседствует с гостиницами и моллами; на первый взгляд эти поблескивающие новостройки наделены всеми характерными признаками города, за исключением наличия улиц. Все подобные проекты являются результатом попытки сохранить более безобидные стороны жизни в крупном городе, избавившись от всех ее недостатков. Смысл тут очевиден: городской образ жизни становится привлекателен, если делать его безопасным и дружелюбным.

Эта новая парадигма города первоначально зародилась в результате автомобилизации, а ее нынешний расцвет является, разумеется, последствием взрывного технологического прогресса. Как я уже упоминал, в эпоху мгновенных электронных коммуникаций человеку на самом деле нет нужды находиться в том или ином месте. Для многих из нас этот выбор зависит совсем от других факторов. Люди, обладающие сегодня таким выбором, часто решают жить в городах не из профессиональной необходимости, а ради доступа к развлечениям и удовольствиям. До некоторой степени будущее всех городов похоже на настоящее Венеции и Амстердама, где действуют правила туристической экономики. Город уже не может считаться единственным местом, где сосредоточена деловая активность, как это было прежде.

Между тем большая часть людей просто не может позволить себе обитать в такой обстановке. Единственный доступный им аналог настоящей городской жизни — это зоны действия новой городской парадигмы, города-спутники, где городские ценности превращаются в пригородные. Говоря о пригородных ценностях, я, конечно, имею в виду отнюдь не только географию и даже не только ориентацию на личный автомобильный транспорт, хоть это и составляет важную часть таких ценностей. Гораздо важнее два менее заметных, но в конце концов куда более глубоких аспекта пригородных ценностей — во-первых, это расовая и классовая сегрегация, а во-вторых, тесно связанное с ней приятие или даже возвеличивание идеи частного пространства. В самом деле, по-настоящему определяющим признаком современности можно назвать приватизацию публичной сферы, и этот процесс уже начал влиять на господствующие в нашей культуре представления о городе.

Частное пространство — отдельно стоящий дом на одну семью, двор, даже сам автомобиль — традиционно ценилось в пригородах больше, чем пространство общественное, которого там и в лучшем случае было не так уж много. В современных же пригородах настоящего общественного пространства еще меньше, чем было прежде. Мало того что торговые центры вытесняют улицы из коммерческой жизни большинства маленьких городов; еще более заметный рывок в процессе приватизации общественных пространств связан с распространением огороженных и охраняемых пригородных поселков, в которых жилые улицы фактически оказываются частными, а не общественными территориями. Речь идет о буквально тысячах таких районов, каждый из которых целиком превращен в один огромный участок частной земли. Они существуют, чтобы отторгать, в то время как традиционный город существовал для того, чтобы вовлекать или по крайней мере создавать ощущение вовлеченности.

Таким образом, расцвет пригородных ценностей означает куда большее, чем простое расползание пригородов. Его смысл — в изменении самого способа функционирования частных и общественных пространств и в пригородах, и в городе; в том, что многие города, даже те, что искренне гордятся своей энергичностью и благосостоянием, в итоге переняли определенные характеристики, прежде относившиеся в основном к пригородам. И в городах, и в пригородах характерные проявления городского типа поведения, который выражается в создании жителями общественных пространств для совместного достижения коммерческих и гражданских целей, теперь все чаще имеют место в пространствах частных и замкнутых: в городских и пригородных торговых моллах; на «праздничных ярмарках», которые встречаются и в городах, и в пригородах; в гостиничных атриумах, зачастую заменяющих городские площади; в вестибюлях крупных кинотеатров, наличие в которых джюжины и более залов придает им значительный общественный статус; наконец, в торговых пассажах, аркадах и вестибюлях офисных зданий. Все это частные пространства, и даже то, что они находятся в общественном пользовании, не делает их общественными в традиционном понимании этого термина.

Помимо того что я обозначил как «новую городскую парадигму», имеется и еще одна недавно возникшая модель, которую принято описывать термином «новый урбанизм». Новый урбанизм зародил-

ся в 1980-е годы в качестве осознанной реакции на мир с непрерывно разрастающимися пригородами; его основоположниками можно назвать архитекторов Андре Дуани и Элизабет Плейтер-Зибек, спроектировавших на побережье северо-западного выступа штата Флорида новый город Сисайд. Застройка Сисайда строго регулируется специально разработанными нормативами (которые хоть и не предписывают напрямую решений в одном из традиционных стилей, по сути способствуют их применению) и основывается на тщательно продуманном градостроительном плане из узких, ориентированных на пешеходов улиц. Хотя в упрек Сисайду иногда можно поставить некоторую излишнюю декоративность — неслучайно там снимали фильм «Шоу Трумана», — он все-таки очень красив и по нему по-настоящему приятно гулять. Там хотя бы иногда вспоминается атмосфера деревень на острове Нантакет или старинного центра Чарльстона, а лучших образцов для небольшого городка в Америке не сыскать.

После того как Дуани и Плейтер-Зибек построили Сисайд, его стали широко копировать — и они сами, и другие архитекторы; так что их проект превратился в эталон для целого движения, ставящего своей задачей возвращение к тому типу городских сообществ, который господствовал до триумфа автомобилизации. Некоторые девелоперы взяли новый урбанизм на вооружение точно так же, как их коллеги — концепцию городов-спутников, и если в лучшем случае результаты такого внедрения оказались неоднозначными, то в худшем они напоминают лицемерные, слащавые парки развлечений. Томление по прошлому или желание нажиться на чужой ностальгии — недостаточная основа для создания жизнеспособного городского организма. Тем не менее подоплекой этих попыток является признание необходимости вернуться к тому, без чего нельзя построить город: к сопоставимому с пешеходом масштабу; к тесной связи между теми местами, где горожанин живет, делает покупки и, желательно, работает; к архитектуре, которая подчеркивает дух места, а не отрицает его. В лучших своих проявлениях новый урбанизм не столько новый, сколько настоящий: хорошая порция старого доброго урбанизма для культуры, которая слишком часто забывала, что архитектура — лишь строительный материал для улиц и городов.

Если вы, как и я, согласны, что одна из главных радостей архитектуры в том, чтобы от восприятия отдельного здания, сколь угодно прекрасного, пойти дальше и увидеть, как здания соединяются в город, тогда и для вас идея архитектуры неотделима от идеи города, от городского импульса. Архитектура — это искусство создания обитаемых мест и общей памяти, а роль города глубоко вплетена в этот процесс. Городская ткань служит по меньшей мере таким же важным источником воспоминаний, как и отдельные здания, и когда здания удачно соединены вместе, как это происходит, к примеру, вокруг футбольного поля в Натли, штат Нью-Джерси, или в древнем центре Рима, они вызывают в нас еще более глубокий отклик, чем по отдельности. Для того чтобы сделать город пригодным для жизни, хорошо спланированные улицы, вероятно, важнее, чем великолепные здания, но ни один город не сумел чего-либо добиться, не опираясь хотя бы отчасти на серьезные архитектурные амбиции. Качественные здания поддерживают нас, служат облагораживающим фоном для повседневности; великие здания уносят нас от повседневности ввысь.

Если максимально упростить, роль любого города сводится к тому, чтобы служить общим местом, общей почвой — создавать своего рода свод общих воспоминаний — и тем самым ободрять нас и придавать нам сил. Льюис Мамфорд писал: «Итак, величайшая задача города состоит в том... чтобы позволять или даже поощрять и вызывать максимально возможное количество встреч, взаимодействий и конфликтов между всеми людьми, классами и группами, обеспечивая, по сути, сцену, на которой может разыгрываться драма общественной жизни, где актеры и зрители постоянно меняются местами».

Мамфорд описывает город как место не только встреч и взаимодействий, но и конфликтов: он понимал, какие сложности таит в себе город, и не пытался сделать вид, что это самое простое из всех решений. Но он знал также и то, что принятие вызова и разрешение конфликтов сулит куда большее удовлетворение, чем путь наименьшего сопротивления, и что в своих лучших проявлениях вызов городской жизни способен облагораживать человеческую натуру.

Еще раз повторю: архитектура — это создание обитаемых мест и общей памяти. Городской импульс есть стремление к тому, чтобы быть вместе, к пониманию, что есть нечто объединяющее нас, какими бы разными мы ни были. Что же нам делать в эпоху, когда все силы направлены на выталкивание людей из городов — на разделение, а не на сплочение? И как нам обеспечить долгую и надежную память, когда все то, к чему мы привыкли, стало так легко не замечать, воспринимая как само собой разумеющееся? Мы все дальше углубляемся в эпоху, когда строительство городов уже не является нашим безусловным рефлексом, а архитектурные переживания становятся все более однообразными и стандартизированными — а значит, все более беззащитными перед угрозой привычки. В этот момент мы должны всерьез задуматься, как мы собираемся получать опыт пребывания вместе и как архитектура может выражать идею общности и общей территории, оставаясь при этом и жизнеспособной, и актуальной для нашего времени.

Архитектура есть выражение реальности, что особенно ценно в виртуальную эпоху. Каждое произведение архитектуры — это возможность реального опыта. Многие из этих возможностей заурядны, другие малопривлекательны, а третьи и вовсе обманчивы. Какие-то из них утешительны, что тоже немало. Но некоторые могут выходить за рамки повседневного опыта и куда красноречивее, чем любые слова, рассказывать нам о том человеческом дерзании, которое будит в нас желание обрести связь с тем, что было прежде, отчасти изменить его по нашему образу и подобию — и оставить тем, кто придет после нас.

# БИБЛИОГРАФИЯ

Mumford, L. The City in History. New York: Harcourt, Brance and World, 1961.

Trystan-Edwards, A. Good and Bad Manners in Architecture: An Essay on the Social Aspects of Civic Design. London: Philip Allan, 1924.

Зитте К. Художественные основы градостроительства. М.: Стройиздат, 1993.

Росси А. Научная автобиография. М.: Strelka Press, 2015.



# ОСНОВНЫЕ тенденции мастер- планирования

## ВЫВОДЫ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕСЯТИ ГОРОДОВ МИРА

Исследование практики стратегического пространственного планирования в десяти мегаполисах, а точнее, агломерациях мира, показывает, что перед ними стоит, в общем-то, одна и та же проблема — необходимость стимулировать рост в условиях ограниченных ресурсов. В первую очередь земельных и финансовых — именно тех основных рычагов, которыми оперируют администрации любых городов. Собственно, дефицит ресурсов и заставляет обращаться к стратегическому планированию — как способу достижения определенных целей при суженной палитре возможностей.

Если в ситуации экономического бума главным драйвером развития становится бизнес, принимающий на себя многие издержки по освоению территорий, то в момент стагнации или спада издержки начинают перераспределяться на значительно большее число игроков. При этом встают вопросы, с одной стороны, оптимизации имеющейся ресурсной базы, а с другой — привлечения новых вливаний. В обоих процессах важную роль играют власти, которые, во-первых, распределяют ресурсы во времени и пространстве, концентрируя их там, где это действительно необходимо (оптимизация), и, во-вторых, стимулируют развитие посредством различных инструментов (привлечение).

В крупных урбанизированных образованиях, таких как рассмотренные в данной главе, ситуация дополнительно усложняется: агломерации или мегагородские регионы, то есть пространственные комплексы с устойчивыми социальными, культурными, хозяйственными, транспортными связями, зачастую включают в себя несколько адми-

нистративно-территориальных единиц. Появляется необходимость создания централизованного органа управления развитием. Этот орган и выступает инициатором разработки различных стратегий, в том числе пространственного развития.

В большинстве случаев — так поступают в семи из десяти примеров, рассмотренных выше, — эту роль выполняет региональная власть. При этом степень вовлеченности представителей органов местного самоуправления, входящих в регион, в процесс подготовки стратегии может быть различной. Иногда представители этих органов, как в случае Большого Ванкувера, непосредственно участвуют в работе, иногда, как в Лондоне, имеют полномочия согласования проекта, иногда, как в Токио, им спускают документ сверху в качестве руководства к дальнейшим действиям.

В разработке стратегического мастер-плана также участвуют представители отраслевых ведомств и департаментов, что обеспечивает связь пространственной стратегии с социально-экономической, экологической и другими. Представители этих ведомств могут включаться в проектную команду, так, например, происходит в Токио. В других случаях, как в Сингапуре, стратегия пространственного развития проходит согласования со всеми необходимыми органами правительства. Практически везде, кроме Шанхая, социально-экономическая стратегия является неотъемлемой компонентой мастер-плана.

В изученных практиках просматривается тенденция дальнейшей централизации рычагов управления агломерациями посредством либо их переноса на более высокий (надрегиональный) уровень, либо создания особых (надстроечных) органов, обладающих широкой полнотой власти, либо укрупнения административных единиц. В частности, после реформы 2007 года разработка стратегии развития Большого Копенгагена оказалась в ведении государственного Министерства окружающей среды.

По закону, который вступит в силу в 2016 году во Франции, управление агломерациями с численностью населения выше 400 тыс. человек будет осуществляться новыми институциями, перенимающими компетенции властей департаментов и регионов. О необходимости объединения 23 муниципальных образований, формирующих ядро агломерации, все активнее говорят в Токио.

Эта тенденция во многом уравновешена тем, что стратегии пространственного развития зачастую носят довольно общий характер и конкретизируются в родственных российским генпланам документах территориального планирования или землепользования (land-use plans), которые разрабатываются для менее обширных территорий. Даже в унитарном Сингапуре выделено пять «районов-миллионников», и для них на основе мастер-плана подготавливаются свои детализированные градостроительные документы.

Таким образом, система планирования приобретает как минимум двухэтажную структуру: стратегия для агломерации + планы землепользования для более мелких административных единиц. Иногда, как в Токио, данная система наращивается дополнительным «этажом» — стратегией на еще более обширный регион, простирающийся за пределы агломерации.

Для описания территорий и закрепления за ними разных характеристик в стратегиях, как правило, используется средовой принцип. Территории делятся на зоны, исходя из своеобразия среды. Каждая

зона подразумевает свои характеристики — плотность, этажность, принципы формирования общественных пространств и пр. Набор характеристик зависит от местных профессиональных традиций. Так, например, в Большом Копенгагене выделяются четыре зоны: внутренний город, внешние районы, зеленые клинья, остальные территории. А в Токио пять: центральная зона, городская среда, прибрежная зона, природная зона и зона малых городов. Важно отметить, что таких зон не должно быть слишком много. Например, при разработке последней версии плана в Мельбурне их количество было сокращено с девяти до пяти. Такой принцип позволяет варьировать подходы к различным территориям, создавая стратегию для большого региона.

Если же говорить о стратегии как способе оптимизации ресурсов, то она, как правило, осуществляется через выделение двух типов зон в пространстве — стимулирования и ограничения развития. В Берлине и Бранденбурге это происходит на основе теории Центральных мест Вальтера Кристаллера, когда в агломерации определяются центры разного порядка, строительство в пределах которых либо поощряется, либо тормозится посредством механизма нормирования. В Большом Ванкувере и Большом Копенгагене обозначены территории возможной урбанизации, при этом расплескивание городской ткани регулируется как нормами, так и ограничением транспортного строительства.

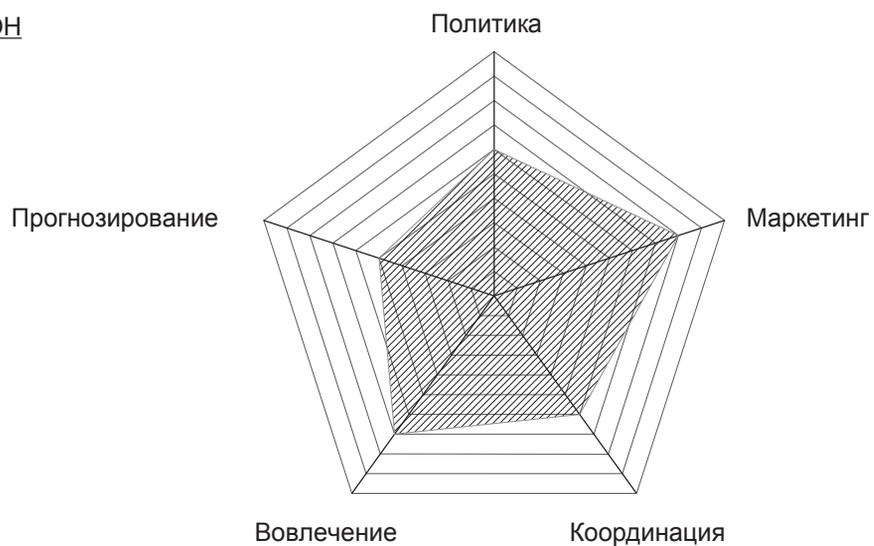
Транспортные разделы занимают в стратегиях особое место. Улично-дорожная сеть, а также линии внеуличного (рельсового) транспорта, с одной стороны, служат для связи обширных территорий, а с другой — являются основным объектом финансирования публичной властью. Они же играют роль драйвера развития. Пример — проект линий легкого метро в Большом Париже, активизирующий становление таких подцентров агломерации, как инновационный кластер Сакле, деловой район Дефанс и пр.

В рассмотренных документах главенствует следующий принцип: сначала инфраструктурное, а затем капитальное строительство. Такой принцип лучше всего реализуется при развитии уже застроенных территорий. Торжествует уплотнительная по своей сути модель компактного города. Она подразумевает в том числе приоритет неавтомобильных способов перемещения, а также стимулирование смешанной застройки, призванной «упаковать» в ограниченные по размеру пространства множество типологий и функций. Такая модель нуждается в постоянной ревизии системы нормирования, зато позволяет избегать высоких расходов на новую инфраструктуру.

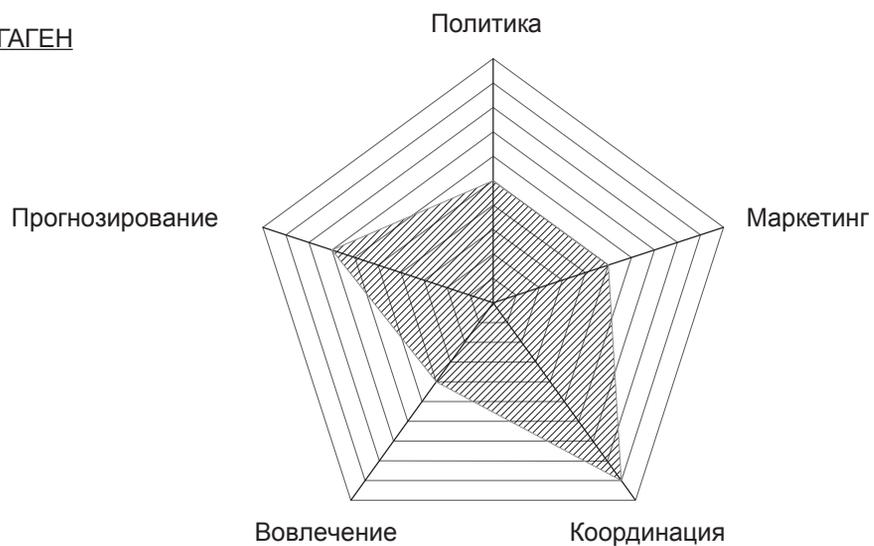
Неудивительно, что все большее значение приобретают инструменты управления, а не проекта. Можно сказать, что индустриальный, модернистский, город демонстрирует активную экспансию в пространстве при относительной незыблемости правил игры — установлений, определяющих правовой, технический и нормативный контекст хозяйственной деятельности. В постиндустриальном городе все наоборот — его пространство более-менее незыблемо, динамику же демонстрируют регулирующие механизмы: градостроительные регламенты, правила, нормы и пр.

Так, например, концепция пространственного развития Большого Копенгагена остается неизменной на протяжении уже почти 70 лет. При этом правила игры меняются часто. Это касается и определения показателей плотностей районов застройки, и радиусов доступности различных объектов от остановок общественного транспорта. Напри-

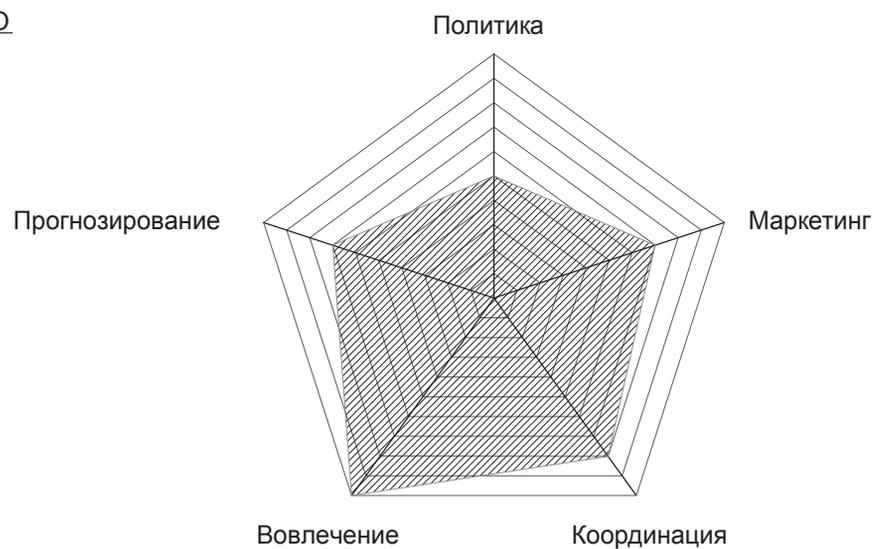
ЛОНДОН



КОПЕНГАГЕН



ЧИКАГО



Мастер-план как пять инструментов. Лондон, Копенгаген, Чикаго

## ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЯ

мер, при экономическом спаде в 1980-х годах минимальное расстояние от остановки общественного транспорта до крупных деловых комплексов было сокращено, что позволило привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Когда ситуация улучшилась, правило было пересмотрено и снова стало более жестким.

Подвижность правил игры при относительной неизменности пространственного каркаса стимулирует использование инструментов параметрического моделирования.

Такие инструменты, как программа Merplan, применяющаяся при стратегическом планировании Большого Лондона, помогают не только увязать плотностные показатели с показателями интенсивности транспортного потока, но и проследить, как те или иные виды использования конкретных территорий отразятся на жизнедеятельности всего мегаполиса.

Другое следствие интенсификации уже застроенных территорий — рост значения коммуникативной составляющей при подготовке и воплощении стратегии, да и других градостроительных документов. Ведь в отличие от девелопмента «в полях», здесь надо учитывать интересы тех, кто уже живет и работает в городе, надо договариваться с ними.

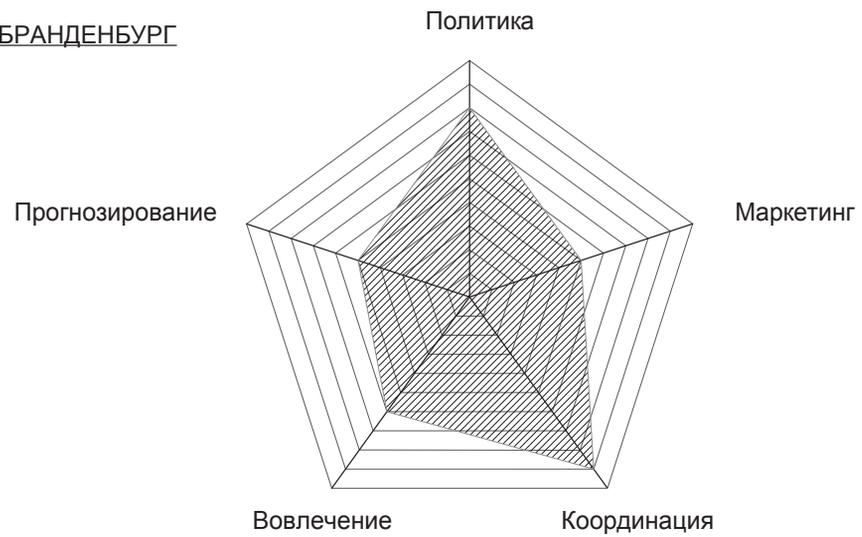
Кроме того, в связи с развитием новых форм коммуникации и с растущей необходимостью разделения расходов по поддержанию жизнедеятельности города между обществом и властью жителей все чаще привлекают к участию в работе над стратегиями развития. К тому же постоянный продуктивный диалог между населением и администрацией укрепляет легитимность и самих документов, и политических институтов. Недаром при разработке своих стратегий власти Чикаго и Большого Ванкувера потратили на консультации с общественностью более трех лет.

Легитимность городской власти, а также прозрачность и верифицируемость поставленных ею долгосрочных целей и задач служат хорошим знаком для инвесторов. Таким образом стратегия привлекает ресурсы. Поддержать этот процесс может некоторая акцентированность на маркетинге территорий. Активная пиар-кампания «Большого Парижа», подкреплённая участием в проекте президента Франции Николя Саркози и международных архитектурных звезд, способствовала росту внимания к инициативе, а значит, и городским проектам, как широкой общественности, так и деловых кругов.

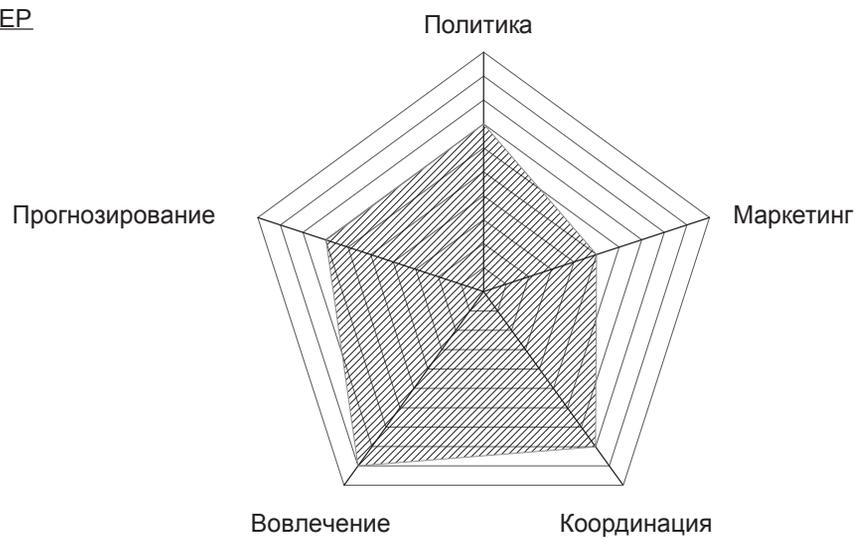
## МАСТЕР-ПЛАН КАК ИНСТРУМЕНТ. НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ НАХОДОК

Основываясь на опыте десяти мегаполисов, рассмотрим, как мастер-план может стать любым из пяти выделенных нами ранее инструментов — координации, прогнозирования, вовлечения, маркетинга и политики.

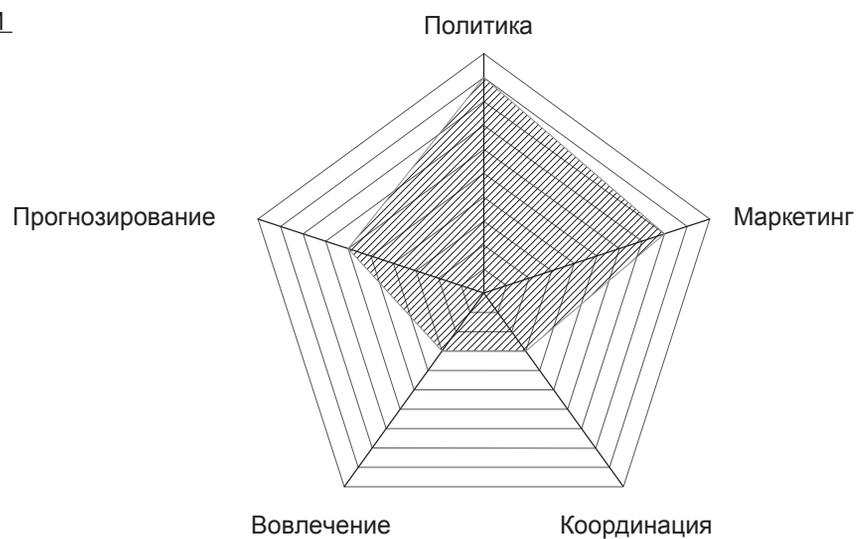
БЕРЛИН-БРАНДЕНБУРГ



ВАНКУВЕР



ШАНХАЙ



Мастер-план как пять инструментов. Берлин-Бранденбург, Ванкувер, Шанхай

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЯ

# ИНСТРУМЕНТ КООРДИНАЦИИ

Координация работы аппарата управления позволяет повышать эффективность распределения ресурсов. Важно не только читать документы, выпускаемые профильными департаментами, но и координировать стратегии между собой. Вариант, когда представители нескольких ведомств, курирующих разные направления городской жизнедеятельности, формируют единую команду при работе над стратегией, как это происходит в Токио, представляется наиболее продуктивным.

В таком случае процесс поиска оптимальных решений становится многосторонним, а вовлеченные в работу представители разных ведомств обеспечивают непрерывную обратную связь между департаментами и авторами мастер-плана. Важно это и с точки зрения повышения уровня компетенции управленцев: экономисты учатся мыслить пространственно, а планировщики учитывать в своих картах и схемах хозяйственные и социальные реалии.

Регулярное взаимодействие с нижестоящими уровнями власти, общение с мэрами муниципалитетов и коммун, позволяет не отойти от реальности и правильно расставить приоритеты. Так, в Большом Копенгагене подготовка стратегии начинается именно с этого. Разработчики встречаются с представителями органов местного самоуправления, совместно выявляя основные проблемы, которые непременно должны быть учтены. Муниципалитеты, в свою очередь, получают возможность точнее подстраивать свою деятельность под планы общего развития.

Налажена обратная связь и в Большом Ванкувере, где мэры, готовя градостроительные документы, должны отправлять в «Метро Ванкувер» отчет о том, каким образом принятие этих документов будет способствовать реализации региональных стратегий. Такими отчетами, кстати, полезно обмениваться не только разным уровням власти, но и разным департаментам.

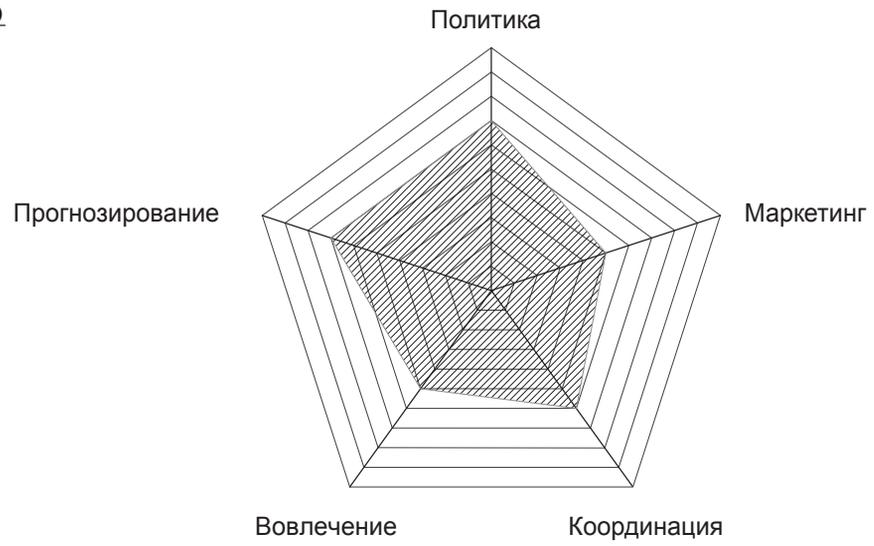
# ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Наличие единой статистической интерактивной базы, где собрано и регулярно обновляется множество данных, позволяет оперативно получать необходимые сведения.

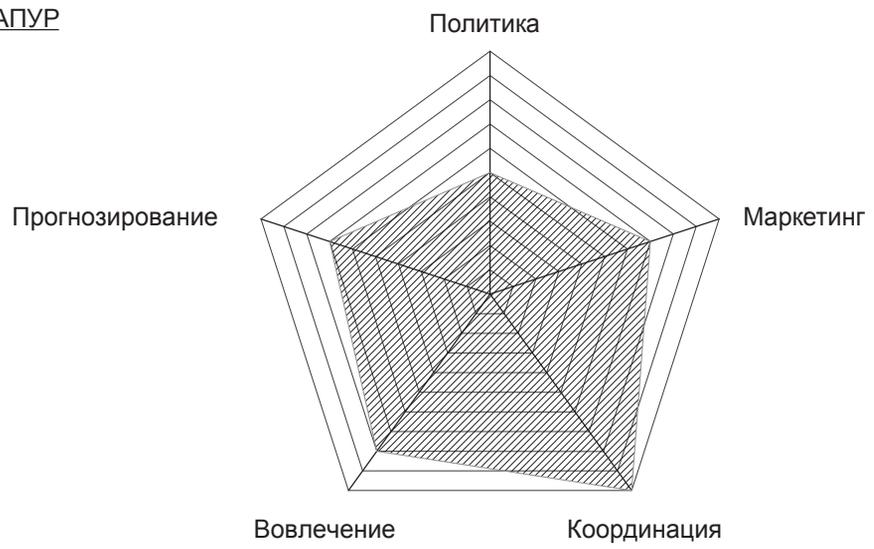
Как говорилось в статье о Париже, одна из проблем стратегического планирования заключается в том, что информация зачастую устаревает раньше, чем документ вступает в действие. Именно поэтому стоит уделять особое внимание постоянному информационному сопровождению. Хороший пример — копенгагенская Plansystem DK.

Важна также оценка статистических данных в динамике и сопоставлении с информацией из других областей, когда, например, информация по обеспеченности социальной инфраструктурой «накладывается» на демографические прогнозы. Подобная «стерео-

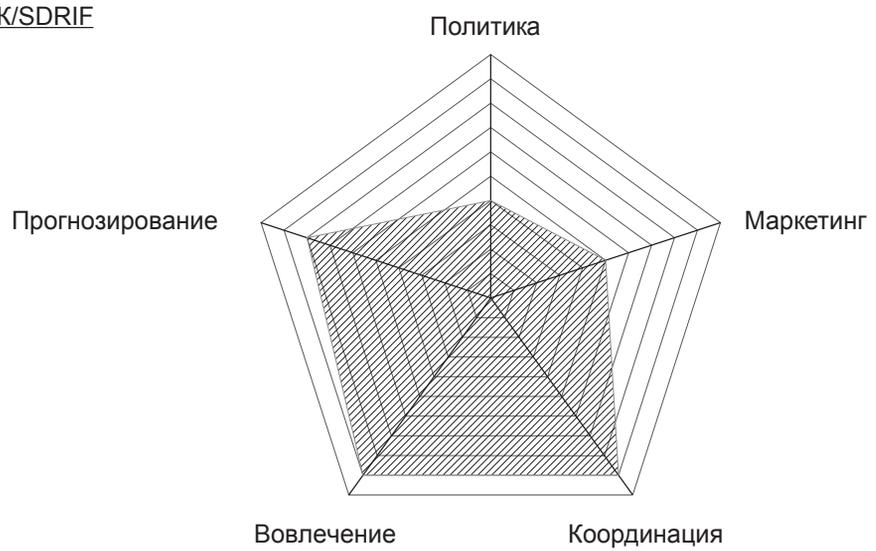
ТОКИО



СИНГАПУР



ПАРИЖ/SDRIF



Мастер-план как пять инструментов. Токио, Сингапур, Париж/SDRIF

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАСТЕР-ПЛАНИРОВАНИЯ

скопическая» работа, в частности, велась в процессе подготовки стратегии развития региона Иль-де-Франс (SDRIF).

## ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕЧЕНИЯ

Вовлечение граждан на ранних этапах обеспечивает возможность наиболее полного учета общественного мнения при разработке стратегии. При этом оно облегчает и ее принятие. Заранее снимается множество вопросов, жители чувствуют свою причастность к документу.

Следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев обсуждение с жителями того, каким должен быть город, и обсуждение собственно документа не смешиваются и разведены по разным этапам. Как правило, первое происходит на самой ранней стадии работы, второе — после выпуска одной из редакций стратегии.

Другим важным фактором является доступность и понятность содержания стратегии широкой публике. Многие города специально делают краткие версии (Париж, Копенгаген) или дополняют документ интересными историями и примерами того, как прошлая стратегия способствовала развитию города (Сингапур, Токио, Чикаго).

## ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА

Использование мастер-плана как инструмента маркетинга подразумевает качественную и разнообразную коммуникацию. Всевозможные выставки, публикации в прессе, репортажи на телевидении и онлайн-ресурсы играют очень важную роль. Так в Мельбурне у плана есть свои странички в Facebook, Twitter, Google и даже свой канал на YouTube. Также имеет значение, от чьего имени издается и кем иницируется создание документа. В случае Большого Парижа широкую огласку проект получил во многом благодаря личному участию президента Саркози.

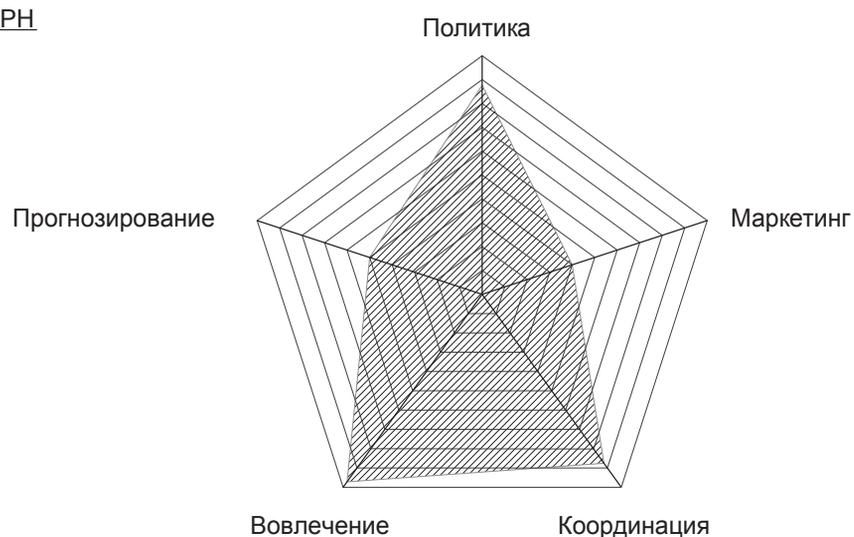
И конечно, в странах, где английский не является государственным, важно делать хотя бы резюме документа на этом языке. Так поступают в Берлине–Бранденбурге.

## ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ

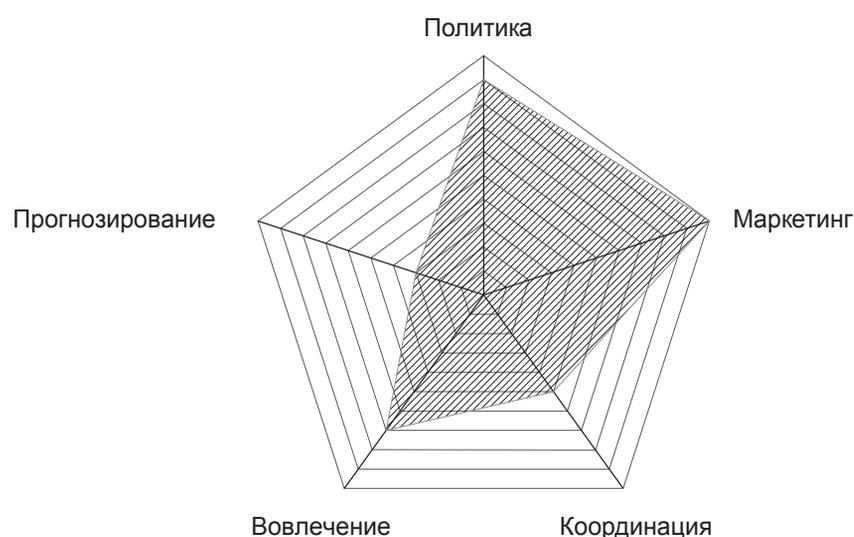
Издание мастер-плана от первого лица или как минимум позиционирование политического лидера как идеолога и двигателя процесса способно укрепить авторитет городской власти.

Так, в частности, произошло в Лондоне, где Борис Джонсон, услышав мнение избирателей, сместил акценты развития города в сторону создания более равноправной и гуманной среды. Успехи по превращению британской столицы в «самый комфортный глобальный

### МЕЛЬБУРН



### ПАРИЖ/Консультация GRAND PARI(S)



Мастер-план как пять инструментов. Мельбурн, Париж/Консультация GRAND PARI(S)

город» не остались незамеченными жителями. Это подтверждает устойчиво высокий рейтинг Джонсона: осенью 2014 года популярность лондонского мэра была почти в два раза выше популярности консервативной партии, членом которой он является, и возглавляющего ее премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Как видно на схемах, документы стратегического мастер-планирования выполняют функции пяти инструментов неравномерно, в зависимости от задач, стоящих перед мегаполисами. Немаловажным фактором, обуславливающим роль стратегического мастер-плана, является политическая и административная система, в рамках которой разрабатывается документ.



